

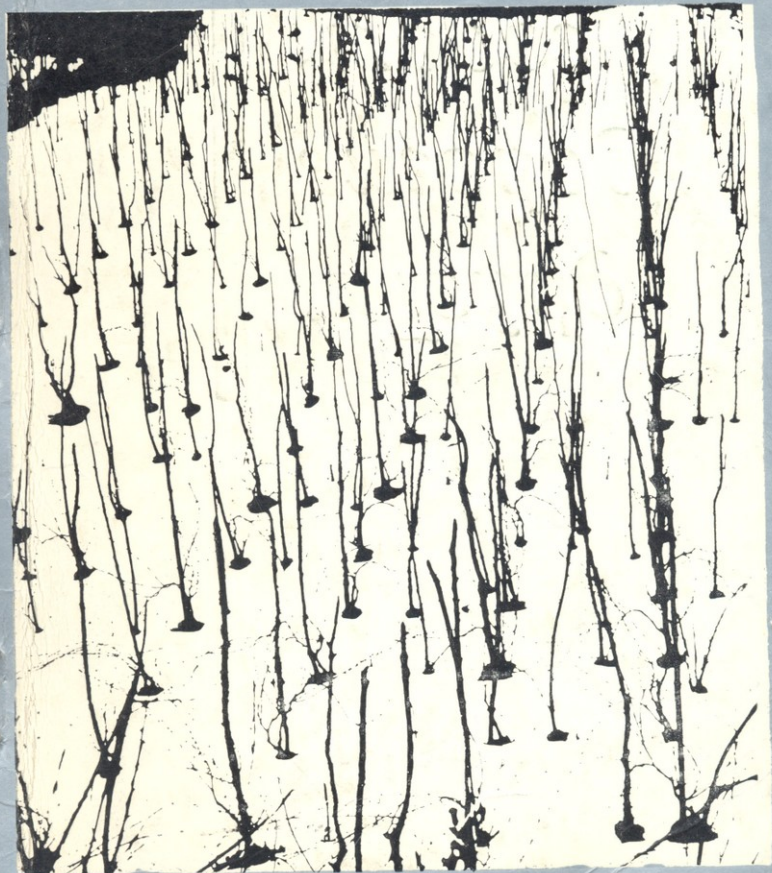
ISS № 0130—3600

ISSN 0130-3600
ISSN 0130-3600

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1983

1



*С Новым
годом,
дорогие
друзья!*



Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ. Слово о Галактионе . . . 3

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

ОТАР ЧИЛАДЗЕ. Новые переводы. Стихи. Перевод Натальи Соколовской и Бориса Резникова 11

РЕВАЗ МАРГИАНИ. Стихи. Перевод Владимира Соколова 158

РЕЗО ЧЕЙШВИЛИ. Ветер доносит музыку. Перевод Гины Челидзе 23

АНДРЕЙ БИТОВ. Вкус. Рассказ. Вступительная статья Реваса Габриадзе 57

ГАСТОН БУАЧИДЗЕ. Страницы жизни Мари Броссе 99

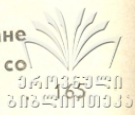
КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ВЛАДИМИР ОГНЕВ. Снег и пчелы. О поэзии Реваса Маргиани 156

1

1983

ВАХТАНГ ЛЕБАНИДЗЕ. Бытие и Ничто в романе
О. Чиладзе «И всякий, кто встретится со
мною...»



ИЗ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО

ГЕОРГИЙ ДЗИДЗАРΙΑ, ИГОРЬ ЛЕЙБЕРОВ. «Осу-
жден: по обвинению в большевизме» . 184

ИСКУССТВО

РОБЕРТ СТУРУА: о театре и о себе. Беседу ве-
ла Виктория Зинина 198

«За Вашего Отелло кланяюсь до земли...». Пуб-
ликация Тенгиза Джанелидзе . 205

ХРОНИКА 155, 164, 222, 223.

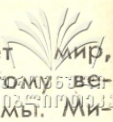
СЛОВО О ГАЛАКТИОНЕ

ОКИДЫВАЯ взглядом мировую историю, убеждаемся в том, что у каждой революции свой поэт-летописец, поэт-трибун. Французская революция породила Эжена Потье, Венгерская — Шандора Петефи, Великая Октябрьская — Блока и Маяковского в России; Галактиона Табидзе — в Грузии. Это — историческая закономерность.

Революции создают новые политические, экономические, социальные эпохи. За истинной революцией всегда следует новая культурная и, следовательно, поэтическая эпоха, основанная на сложной диалектике базиса и надстройки.

Гений революции вызвал к жизни вслед за «Манифестом Коммунистической партии» Маркса и Энгельса блистательное творение Потье и Дегейтера—партийный гимн «Интернационал», переведенный на грузинский язык Акакием Церетели, а затем и Галактионом Табидзе.

Ведь не случайным было и то, что Маркс, Энгельс, Ленин блестяще разбирались в шедеврах мировой поэзии. Великая книга человечества—«Капитал» Маркса чарует и пленяет нас не только гением первооткрывателя, великого ученого, философа, экономиста и социолога, но и удивительным поэтическим вкусом великого мыслителя.



Революция преобразует и совершенствует мир, действительность и по законам красоты. Поэтому великая революция и истинная поэзия неразделимы. Мир, революция посвятила Октябрьской революции и великому Ленину бессмертный гимн. В грузинской поэзии Ленина впервые воспел Галактион Табидзе в своем антологическом, хрестоматийном стихотворении «Корабль «Даланд». Стихотворение это является одной из блистательных заглавных страниц не только грузинской, но и мировой поэтической Ленинианы. Галактион является одной из великих фигур всемирно-революционной поэзии XX века, классиком мировой поэзии XX столетия. И мы с огромной душевной окрыленностью отпраздновали его 90-летие. Случилось так, что юбилей поэта отмечался между двумя датами — 65-летием Великой Октябрьской социалистической революции и 60-летием образования СССР. Тот, кто хорошо знает Галактиона и искренне любит его, понимает, что близость юбилея Галактиона к этим историческим датам многозначительна и символична для его имени, судьбы и поэзии.

Галактион стал подлинным реформатором грузинской поэзии XX века. Он вдохнул в нее новую душу, обогатил выразительные средства грузинского стиха.

Революция рано вторглась в жизнь Галактиона: сначала это была буря девятьсот пятого в Кутаиси, затем годы участия юного поэта в революционном движении. В девятьсот восьмом прогремело его известное первوماйское стихотворение на нелегальном собрании революционных масс, а затем — проповедь идей свободы уже на попроще собственно поэзии.

В жизни Галактион был истинным революционером, знаменосцем и певцом революции. Революционером он был и в поэзии. Революция была его стихией. Революционер в жизни, революционер в поэзии — такова гигантская фигура Галактиона.

«Когда в Цицамури убили Илью, с ним и эпоха скончалась великая», — так писал Галактион в одном из своих стихотворений и сам же явился зачинателем новой эпохи в грузинской поэзии, достойным наслед-

ником Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшавела.

Общеизвестно, как отозвалось творчество Галактиона на свержение самодержавия. Не прошло и недели после исторической вестии об этом, как в кутаисской социал-демократической газете уже было опубликовано его стихотворение «Скорее — знамена!» Два гениальных поэта первыми откликнулись на бурные дни Октября: Александр Блок — поэтическим эпосом и Галактион Табидзе — лирической исповедью.

«Скорее — знамена!» Галактиона — жемчужина революционной национальной поэзии. Это стихотворение знает наизусть каждый грузин.

Маркс в своих известных «Тезисах о Фейербахе» ярко выделил ту мысль, что «философы лишь различным образом **объясняли** мир, но дело заключается в том, чтобы **изменить** его». Следовательно, назначение и цель революционной философии состоят не в том, чтобы только объяснить мир, **главным** является **революционное преобразование действительности**. Это и стало в дальнейшем задачей всей коммунистической идеологии.

Галактион Табидзе хорошо понимал, что революционное преобразование действительности является задачей и поэзии. Революционный характер поэзии Галактиона Табидзе явлен, в первую очередь, в ее преобразующем действительность эстетическом и социальном пафосе и силе.

Маркс говорит, что идея становится материальной силой, когда она овладевает массами. Поэтическая мысль, поэтическая идея также подчинены этой закономерности. Поэтому и обрела материальную силу поэзия Галактиона Табидзе.

Трудно сегодня представить нам революцию и революционное созидание без поэзии нашего великого национального поэта Галактиона.

Призывом вперед звучит для всех поколений шедевр Галактиона «Революционной Грузии»:

**Революционной, невиданной,
Неслыханной доселе,
Слава Грузии новой!
Созиданию — слава!**

Активная социальная позиция — вот место поэта под солнцем, провозглашает Галактион.



**И встанем там, где ангел смерти
Нещадно сеет прах и дым.
Себя, грузинские поэты,
Грядущим бурям посвятим.**

Не было в жизни нашей страны ни одного значительного явления, такого социального сдвига, такого созидательного начинания, на которые не откликнулась бы лира Галактиона. «Эпоха», «Революционная Грузия», «Пацифизм», «Пресса», «По дорогам Европы», «Родина, жизнь моя» — это только названия его великих книг, в которых запечатлены гений поэта, его мудрость, прозорливость, высочайший гуманизм, патриотизм и интернационализм, всегда тесно спаянный с непоколебимым коммунистическим мироощущением.

На баррикадах революции, на лесах коммунизма борются, создают новую действительность и нового человека все двенадцать томов Галактиона!

Ошибается тот, кто думает, будто коммунистов в поэзии Галактиона пленяет и увлекает лишь то, что непосредственно, прямо касается революции, партии, коммунистического строительства, скажем, такие произведения, как «Скорее — знамена!», «Корабль «Даланд», «Родная моя земля», «Мы, поэты Грузии», «Джон Рид», «Революционной Грузии» и другие.

Насколько беднее стал бы духовный мир коммуниста, если бы он не знал цены таким шедеврам Галактиона, как «Синие кони», «Я и ночь», «Мери», «Могильщик», «Ода Никорцминде» и другим, создавшим целую эпоху в развитии грузинской поэтической мысли и ее художественной формы.

Маркс говорил: «Ничто человеческое мне не чуждо». Это кредо всех истинных коммунистов. Все коммунисты — прямые и непосредственные наследники всех прогрессивных достижений мировой цивилизации, а передовая поэтическая мысль относится к великим достижениям цивилизации. Поэзия Галактиона во всей своей полноте — одно из феноменальных достижений поэтического мышления.

Нас, коммунистов, связывает с поэзией не утилитарное, а высокоэстетическое отношение, и поэтому



каждый шедевр Галактиона, как творение высокой поэзии, служит формированию духовно богатого человека, человека современной поэтической культуры.

Известно, что коммунисты и впрямь скроены из особого материала, им не чуждо ни одно из истинно человеческих чувств, эмоций, настроений, духовного состояния. Именно поэтому понятны и близки коммунистам Гомер и Руставели, Данте и Сервантес, Пушкин и Бальзак, Илья Чавчавадзе и Николоз Бараташвили, Горький и Маяковский, Блок и Галактион, истинные поэты и мыслители всех эпох и народов.

Коммунисты — люди неукротимого социального оптимизма, революционного мужества, но разве им вместе с чувством прекрасного, надежды, радости, законной гордости чуждо и чувство печали, трагизма, скорби, боли?!

И человек, и жизнь — настолько сложные явления, что недопустимо упрощать, обеднять, превращать в феномен одного измерения диалектику их взаимоотношенности. Коммунист не вправе не понимать, насколько сложна палитра человеческих чувств, гамма человеческих эмоций, духовный мир человека. Ведь грусть — такой же спутник человеческой жизни, как и радость.

С этой точки зрения шедевры Галактиона, как, скажем, «Могильщик», «Я и ночь» и другие, имеют не только чисто поэтико-эстетическую, но и большую познавательную ценность. Глубокое и всестороннее, именно всестороннее, восприятие и освоение поэтического наследия Галактиона помогает нам в решении одной из величайших проблем нашего столетия — проблемы человека, проблемы познания человека. В XX веке поэтическая сущность человека, если угодно, его философская и психологическая природа, редко где выявлялась с такой силой, как в гениальных творениях Галактиона.

И с этой точки зрения поэзия Галактиона, как и произведения всех великих творцов, имеет общечеловеческое значение.

Она дает ответ на вопросы: кто есть человек? Каков он? Каковы его природа, характер, психика, душа? Что в нем вечно, общечеловечно, националь-

но, а что — временно, эфемерно, преходяще? Галактион помогает нам открывать самих себя. В поэзии Галактиона совершается чудо: мы явственно видим человека в мире и мир в человеке.

Его поэзия — вечная поэзия. Галактион ведет разговор и с современностью, и с грядущим. Он — прямой наследник нашего поэтического прошлого и первый поэт современности, он — незыблемая основа и цвет нашего поэтического будущего.

В поэзии Галактиона как бы сплавлены воедино многовековые достижения грузинского поэтического слова. Его стих — качественно новый итог развития грузинского стиха от начала до XX века, от Руставели до Галактиона.

Как известно, стихотворения последнего периода написаны Галактионом главным образом в 1956-58 годах, и в них большое место вновь занимают мотивы революции, тема Ленина. Знаменательно, что вновь большое место отводится образам Октябрьской революции, Петрограда и Москвы тех грозных дней. «Вперед, вперед, страна родная», «Под знаменем Великого Октября», «Сорок лет», «Помнишь ли Октябрьских дней величье», «Семь новых лет», «Мост над Невой», «Все годы, что мощным обрушились валом», «Знамена декады» и другие стихи посвящены непосредственно этим темам. На передний план выдвигаются также темы народа и мира — два вопроса, с особой остротой переживаемые Галактионом на исходе его жизни. Здесь перед внутренним взором поэта встают «задумавшиеся люди, когда они вспоминают Ленина», и для него «сам голос Ленина — голос борющегося народа, никогда не смолкающий, набатный голос народа, мощно устремленного к миру».

Проблема диалектической соотнесенности личности поэта и его творчества всегда актуальна.

Революционная действительность по-новому поставила и этот вопрос. Новое время обязало поэта занять активную жизненную позицию, вовлекло в ряды строителей коммунизма, потребовало от него жить теми же коммунистическими идеалами, той же коммунистической моралью, которые он проповедовал в своем творчестве.



Галактион Табидзе жил во времена, полные бурных событий. Революция, гражданская война, изгнание меньшевиков, победа Советской власти, ликвидация кулачества как класса, коллективизация, индустриализация, культурная революция, Великая Отечественная война, восстановление народного хозяйства... Все эти этапы истории великий поэт пережил всей душой. И каждый из этих этапов оставил в душе и творчестве поэта свой глубокий след.

Еще при жизни Галактион Табидзе стал легендой. В юности мне, подобно многим читателям и ценителям его таланта, не раз доводилось видеть Галактиона. Сколько раз мы, молодые, шли вслед за великим поэтом по проспекту Руставели в надежде на то, что, кто знает, может, хоть раз взглянет он на нас. Почтение к нему было велико, двигались мы, затаив дыхание, свет его огромного таланта лился на нас и одновременно смущал — ни разу мы не осмелились встретиться с гением лицом к лицу, взглянуть ему в глаза, высказать свое уважение и любовь. Я потому и пишу сегодня о Галактионе, чтобы вспомнить те слова и мысли, которые тогда, в молодости, мы не осмелились высказать ему, выразить чувства, с юности связывающие нас с именем и творчеством великого поэта. Поэтому эти строки — вовсе не всесторонняя, фундаментальная партийная оценка поэзии Галактиона, а лишь выражение той человеческой любви и почтения, которые с отрочества заронил в наши сердца великий чародей поэзии.

Биография поэта — биография его поколения, биография Грузии XX века, биография всего народа.

За торжество свободы, демократии, мира и счастья боролся Галактион всей своей непревзойденной лирикой, и он внутренне всегда был готов к тому, чтобы достойно встретить исторические сдвиги, происшедшие в нашей жизни.

Рядом с нашим великим поэтом всегда стояла и духовно его поддерживала ближайший друг и супруга Ольга Окуджава, родившаяся и закалившаяся в известной революционной семье. Именно поэтому хочу вспомнить эту замечательную женщину, коммуниста, спутника жизни и лучшего друга Галактиона Табидзе.

Тем более, что судьба, выпавшая ей, оказалась трагичной.



Да, немало радости принесла поэту великая эпоха, и в то же время не раз травмировала его полная бурь и тревоги жизнь. Но он, подобно твердой скале, переносил все испытания и никогда не мерил жизнь своим личным счастьем или несчастьем. Высшим поэтическим критерием для него были народ, идеалы народа. Он жил жизнью народа, одушевлялся его надеждами. Он всегда находился в гуще событий, был великодушен, стал выше всего личного и победил. Великий поэт и великий гражданин — таким он был и таким останется в вечности.

Сегодня, в эпоху невиданного подъема социалистического строительства в Советской Грузии, в эпоху ренессанса нашей культуры, нашего поэтического слова Галактион стоит рядом с нами, высоко держит знамя поэзии, знамя революции.

Идут годы. И чем дальше, тем очевиднее сила и обаяние поэтического гения Галактиона. Его поэзия удивительно национальна и в то же время удивительно интернациональна. Глубоко верю, что Галактион прошагает по всей планете, его поэзия станет достоянием говорящих на разных языках народов.

Галактион так же неиссякаем, как и душа народа. Галактион так же бессмертен, как и породивший его народ. Галактион так же прекрасен, как сама Грузия!

Слава его имени и поэзии!



НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

* * *

Знаешь, Марина, год между нами.
Многое переменилось на свете.
Словно юродивый, мечется ветер,
город ночной оглушив бубенцами.

Я вспоминаю снег, что зимою
тяжкий, как долг, придавил мои плечи.
Как утомили меня белизною
этого снега яркие свечи.

Снег продолжался ночью и денно,
улицы красок лишив, как пощады.
И заволакивал он постепенно
гаснущих окон долгие взгляды.

Словно уставший беглец, он держался
ближе к домам. И поскрипывал тихо.
Без передыха снег продолжался.
Без передыха. Без передыха.

Снег опускался чисто и ровно.
Сколько еще там у неба осталось,
чтобы округу терзать хладнокровно
невыносимым намеком на старость.

Как в эти дни мне тебя не хватало!
И, открывая окно на рассвете,
я наблюдал, как соседские дети
снега знамена тащат устало.

Белого снегаплыли полотна
без перебоя, без перебоя.
С домом порвал я бесповоротно
и в снегопад уходил с головою.

Загнана снегом улиц упряжка.
Улицы выгнули мокрые спины.
Я опускался в снег этот тяжело
и вспоминал тебя, слышишь, Марина!

Знаешь, Марина, год между нами.
Многое переменилось на свете.
Словно юродивый, мечется ветер,
город ночной оглушив бубенцами.



* * *

Лекарство станет вдруг водой,
лишится ум бывшего пыла,
когда предстанет предо мной
с Дарьялом схожая могила.

И закричит петух шальной,
и замолчит ручей без силы,
когда предстанет предо мной
с Дарьялом схожая могила.

Останусь я с самим собой
и бездной, что меня сразила,
когда предстанет предо мной
с Дарьялом схожая могила.

* * *

Для царствующих непогод
закрыв однажды слух и зренье,
писал он ночи напролет
и не слышал, как дождь идет
и гром грохочет в отдаленье.

Писал он ночи напролет
в предсмертном как бы нетерпенье.
И только тень в оцепененье,
как пес, лежала у ворот.

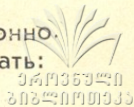
Всю комнату свою вразлет
листами забросав в смятенье,
писал он ночи напролет.
И, как пережитого тени,
листы ложились на ступени
под перекличку непогод...

Дождь шел и шел. И тем не мене
писал он ночи напролет.

* * *

Как чуткая палка слепца по заросшей тропе,
как стрелка часов — неизменная узница круга,

я от расставания к встрече влекусь неуклонно.
И времени нет у меня для того, чтоб узнать:
зачем я к тому устремлен,
от чего удаляюсь.



* * *

С обратной стороны забора
чета платанов-однолеток,
я думаю, взорвется скоро:
так сильно напряженье веток.

Я помню, как им было трудно,
как зиму целую терпели
ворону, каркавшую нудно,
и злые выпады метели.

А нынче в солнечной лавине
пульсирует чета платанов.
И только б любоваться ими.
И восхищаться неустанно.

* * *

От прошлогодней не отличалась
участь листвы и решила заране.
Только единственный лист одичалый,
словно ладонь, прижимается к раме.

Синька асфальта мхом оползает.
Улица облик теряет и доблесть.
Скоро сама себя не опознает,
окаменевшей реке уподобясь.

Где же ей, окаменелой, безликой,
мир волочить за собой на аркане...
Косо из окон летящие блики
падают вниз, разбиваясь о камни.

* * *

Себе наскучивши собою,
день сам себя на нет сводил.
Дома дрожали за Курою,
и ветер деревá порою
раскачивал что было сил.

День пастуха напоминал.
Он кровью солнца омывал
свои натруженные руки

и той дорогой поспевал,
где, как стада за перевал,
шли гаснущие свет и звуки.



Перевод Натальи СОКОЛОВОЙ

СВЕТОВОЙ ГОД

(отрывки из поэмы)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

13.

Я еще верил: случайная встреча и власть
прошлого вновь разожгут нашу нежность и страсть!

Я не заметил, что жизни упрямая сила
наши желанья по собственным планам лепила...

Тысячи слухов ходили за нами с тобой,
тысячи глаз караулили шаг наш любой,

так что мы оба, естественно, знали и сами,
как называется дерево это с плодами

сладостными, и какая нам в том благодать,
чтобы плоды эти все-таки жадно глотать.

Путь наш, однако, единственным, принадлежавшим
нам лишь двоим, а до нас и не существовавшим

ни для кого на земле был! Лишь нам естество
путь тот открыло, хотя и лишило его

формы и образа, ясного вида и рода.
В этом пути была наша судьба и свобода.

В путь этот огненный нас уносили с земли
крылья, которых вместить небеса не могли.

Это заметили все. А ведь то, что для зренья
слишком заметно, всегда вызывает сомненья.

С нас не спуская пустых и внимательных глаз,
люди решили: судьба наша — грех и соблазн!



Боль оказалась в руках у нас вместо отрады —
и, утомленные, мы возвращались в ограды

наших домов. И без слов опускала заря
наши тела в темноту, словно душ якоря...

14.

Тогда, как и сегодня, было лето —
и на его ладони до рассвета
сверкала исполинская звезда,
похожая на жаркий лед! И пламя
звезды живыми пальцами-лучами
своими властно управляло нами
и всей землей.

Тогда, как раз тогда
мы и расстались...

В час, когда остыли
от зноя камни, мы вдруг ощутили
стыд и раскаянье — и этот знак
заставил их и нас забыть о том, что было
еще вчера. А время подтвердило:
оно и лучше, и надежней так...
Ах, время подтверждает все на свете:
позор и славу, подвиги и плети,
кровь и смирение, немоту и речь —
и жизнь, и смерть, в конце концов! Мы время
изобрели, чтоб измерять им бремя
разлук; а чтобы им быстрее течь,
мы разделили время на года
и дни...

А время — это мы! Мы сами!
Хотя бы потому, что вместе с нами
исчезнет и оно раз навсегда...

15.

Потом я встретил как-то раз
тебя на улице. Стоял
уже декабрь; но ты, я знал,

ждала меня — и родилась
во мне опять надежда... Год
кончался; переулки ночью
покрылись снегом; все короче
был день, все ниже — небосвод.
И город, как пустой орех,
плыл по воде; и все бежали
так, словно, как и я, искали
тебя... Вот почему их всех
возненавидел я тогда —
а больше всех тебя.

И все же
ты мне и тут была дороже,
чем горы, ветер и звезда...

16.

Машина шла по темному шоссе с предельной скоростью, и встречный ветер свистел так резко, словно собирался остановить нас...

Тут, в пустой степи, машине было в самом деле трудно бороться с ветром. Но она боролась, как борется с течением молодая и смелая форель.

Мир был огромен и бел.

...Я молча закурил и снова протер переднее стекло. Во тьме уже светились огоньки поселка. Мы ехали вдоль аккуратных дач, и черные деревья по краям дороги выглядели так угрюмо, как будто кто-то поручил им прятать от наших глаз дремавшие в снегу сады и тихие дома...

(«Сейчас тебе уж полагается стоять перед калиткой! Здесь — уже твои края! Ты — автор и хозяйка этой великой белой тишины и сна земли и звезд»)...

Я опустил стекло, и мне в лицо ударил резкий ветер с колючими снежинками. Внезапно мне нестерпимо захотелось пить. Через секунду-две машина резко остановилась, словно вдруг проснувшись от холода.

Водитель повернулся ко мне — он, видимо, хотел мне что-то сказать, но почему-то передумал и молча поднял воротник. Он спрятал лицо в пушистый мех и изнутри воротника взглянул вперед, на путь в снегу — взглянул, как огорченный чем-то пушной зверек глядит из теплой норки на зимний день...

Я вышел из машины и сунул в рот комочек снега. Ветер обрадовался мне и закружился вокруг меня, как пес при возвращенье хозяина. Вскочив ко мне на грудь, он мокрым языком лизнул мне губы — и мне пришлось стряхнуть с ладоней снег и быстро сесть назад, в машину.

— Слушай, закрой окно... ведь холодно!

...Водитель сказал мне это так невозмутимо, что я невольно вздрогнул и смутился, как будто вправду только тут заметив его.

И в голосе его внезапно возникли те тепло и свет, в которых я так тогда нуждался. В нем была та сила подлинности, без которой жить невозможно. Этот голос мог преодолеть любое лихолетье. В нем, наконец, звучало все, о чем хотел сказать я сам...

Мир был огромен и бел; и этот мир принадлежал нам. На мгновение оказавшись рядом, в одном пространстве, мы невольно были похожи друг на друга, и в пробирке ночного снега наши души робко сливались. И доверье их друг к другу боролось с недоверьем — потому что в отношениях меж людьми доверье и недоверье сосуществовать не могут.

Я вдруг ощутил вершину, высокую вершину, и с нее взглянул на мир. Мое дыханье сжалось от чувства высоты...

17.

Огни в домах куда-то скрылись, и дорога снова прорезала ночной простор. Холмы на горизонте высились, как волны из камня в белых гребешках снегов. А темнота над ними походила на черный занавес в пустом театре.

Мы развернулись на шоссе и быстро поехали назад. У перекрестка машина, сбавив скорость, завернула направо. В тот же миг полоска света, как вывалившаяся из окна нагая женщина, упала вниз сквозь ветки и загородила нам дорогу. Через несколько секунд я увидал тебя перед открытой калиткой. На тебе была небрежно накинутая шубка; мягкий мех почти скрывал лицо. И я внезапно почувствовал, что ты и мир вокруг — уже другие и что в этом мире ничто не повторяется. Но я почувствовал и то, что свет твоей души способен победить любой грех и любую слабость на земле — как мартовское солнце побеждает снег на крутых церковных куполах...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

18.

Проголодавшийся во сне
как вдруг проснулся и клешней
разворошил внизу, на дне,
грязь, водоросли, мокрый ил...
Он все течение замутил —
а все же белыми, как мел,
глазами что-то разглядел
вдали, и тут же в грозный свой
поход отправился.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

36.

Так сколько времени я просидел
на каменной ступеньке, дожидаясь
зари над морем?

А прибой все так же
шумел, все так же загребал к себе
в подол песок и маленькие камни.

...И вот в какой-то миг все, что я слышал
вокруг, все, что звучало в темноте,
соединилось вдруг в единый звук,
пронзительный и резкий, как сигнал

трубы в бою...

Он пробудил меня от сна — и предо мной предстала вся Природа в образе прекрасной, юной и сильной женщины. Она была одета в облака, и алый пояс рассвета стягивал их у нее под грудью. Волосы на обнаженных ее плечах белели, словно снег и шерсть; в глазах же у нее горел огонь, и тело высилось на двух столбах из пламени. А на ее ладони, словно зрелые плоды смоковницы, покоились четыре светящихся звезды.

37.

Я не успел

еще опомниться, когда она, дотронувшись рукой до моего плеча, спокойно молвила:

— Не бойся...

Я — и Начало, и Конец. Я тоже живу и умираю наподобье любого смертного — но Я способна и воскресать (одна на свете Я владею этим даром). Жизнь и смерть во Мне едины, и ключи от них — в Моих руках. А ты лишь часть Моей работы — малая, но чрезвычайно существенная; ибо без тебя Я не могу достигнуть полноты и совершенства. Но поскольку плоть и кровь твоя Мне много раз еще понадобятся в будущем, ты тоже вернешь их Мне назад, когда пробьет и для тебя час смерти...

38.

Не мешай же

входящему, не будь ни для кого преградой! Но, пока ты существуешь, изведай до конца всю радость мира,



накопленную для тебя твоими
бесчисленными прадедами — теми,
кто жили сотни лет назад, а ныне
давно уж снова стали темной кровью
в Моих подземных венах... Этой кровью
лишь и живя, вы все-таки всю жизнь
боитесь смерти! Но и смерть совсем
не так ужасна, если ты сумеешь
подумать здраво и понять, что ты
ничем не отличаешься от птицы
и дерева. Ты должен знать: ты смертен,
и не тебе, а Мне принадлежат
душа твоя и тело. С этим знаньем
ты проще и достойней встретишь смерть.



39.

Я знаю все твои дела, я знаю,
в чем цель твоих трудов и дней на этой
земле, чего ты ждешь от бытия,
что в нем отраднее всего твоей
душе, глазам, ушам. Я знаю все,
что ты на жизненном пути утратишь
и обретешь благодаря терпению
и нетерпению... Пусть же не страшат
тебя твои дела и все земные
грехи! Пока ты существуешь, жизнь
твоя не может быть заменена
ничьей чужой. Поэтому, пока
ты существуешь, стой под солнцем так,
чтобы не пропустить ни одного
его луча! Пока ты существуешь,
стой на ветру весеннем так, чтоб он
летел к тебе со всех концов земли!
Пока ты существуешь, стой под снегом
так, чтобы хлопья снега залепляли
тебе лицо...

40.

Постигни глубину;
познай, изведай и переживи
все сотворенное Моею волей
и властью. Смело проходи сквозь пламя

и наводнение. Никогда не бойся
страданий: благородство бытия —
и в них; они всегда несут в себе
и некую награду! Не пугайся
своих ошибок, не стыдись бессилья
и наготы своей. Пойми, ведь это
Я родила тебя слепым и голым —
но Я же и глаза тебе дала,
чтоб ты мог видеть, хлеб иль камень, кровь
и слезы, иль вода перед тобой;
и Я прикрыла наготу твою
одеждами... Ты Мне принадлежишь
весь, целиком и полностью.

41.

С тобой

Я неразлучна буду до конца,
куда бы ни вели твои дороги,
останешься ли ты здоров, иль тяжесть
болезни сокрушит тебя... А если
ты заболеешь (от забот и дум,
или от пьянства и разврата, это
Мне безразлично), Я склонюсь к твоей
постели и не допущу, чтоб смерть
пришла к тебе до срока! Гноем ран
твоих Я не побрезгаю — его
Я высосу и раны исцелю
Своей слюной... Я признаю тебя
и буду признавать всегда — как всех
людей, носящих имена, как всех,
кто жив и должен умереть. Тебя
Я разбудила, ибо спящий ты бы
вовек не услышал Меня. Тебя
Я разбудила, чтоб вручить тебе
рассветную звезду. Вот Я стою
перед твоею дверью, чтобы вместе
с тобою преломить твой хлеб...

И долго

еще я жадно и недоуменно
внимал ее словам.

Но вот зажглась
заря над морем. Ярко разгорелся
свет четырех огромных, чистых звезд,
лежавших на ладони у Природы,
подобно птичьим яйцам в темноте
гнезда...

Природа опустила руку —
и эти звезды полетели вниз,
на землю, как созревшие плоды
смоковницы. Упав же вниз, они
преобразились в четырех крылатых
коней, нетерпеливо бивших землю
копытами; и через три-четыре
минуты эти четверо крылатых
коней — зеленый, красный, белый, черный —
уплыли в море, быстро и бесстрашно
круша своими мощными телами
еще клубившиеся над водой
остатки темноты.

И, наконец,
пересеченное до горизонта
четырехцветной полосой зари,
возникло море...

Перевод Бориса РЕЗНИКОВА

Маляр пришел

ВЕТЕР ДОНОСИТ МУЗЫКУ

Перевод Гины ЧЕЛИДЗЕ

Начало публикации произведения Резо Чейшвили «Ветер доносит музыку» см. в «Литературной Грузии» за 1981 год, №№ 1, 4.

ПРИШЕЛ маляр и принес с собой два альбома с образцами и трафаретами. Надо было условиться, в какой цвет окрасить каждую из комнат так, чтобы оттенок потолка гармонировал со стенами.

Хозяева долго разглядывали альбом, советовались, пререкались, не могли прийти к соглашению. Конечно, прения рано или поздно должны были прекратиться, причем последнее слово все-таки принадлежало маляру — его мнение было решающим. Ему было поставлено три неперемных условия: комнаты следовало окрасить быстро, красиво и дешево. Он сказал, что об этом волноваться нечего, что вообще он только так и работает: быстро, красиво, дешево. Утверждая это, он ритмически подергивал плечом,

а иногда и головой, правда, не всегда в такт. Долгое время после того я думал, что подергивание — свойство всех маляров на свете.

Наконец и мне предложили просмотреть альбомы и спросили, какой из образцов мне нравится больше всего. Я выбрал тот, на который никто, включая маляра, не обратил внимания.

Очерченные на голубом фоне два глаза напомнили зеркала. Внутри каждого глаза были нарисованы три черно-белых котенка с красными лентами на пушистых шейках. Будто где-то, по ту сторону картинки, отражались они в зеркале, скосив глазки в одну сторону. Оказывается, эти зеркала с котятами были предназначены для спальни.

Мой выбор без слов и с улыбкой был тут же отвергнут, но я все-таки надеялся, что в один прекрасный день проснусь в комнате с нарисованными на стенах котятами. С этой мыслью я уснул, и во сне мне приснились котята.

...На окнах — занавеси цвета предзакатного неба, стены окрашены синим, а на потолке нарисованы красные, пронзительно красные котята. Я слышу, как соседский квартирант, пожилой студент бухгалтерских курсов, говорит, что на нашем месте он ни за что не стал бы сдавать эту комнату.

Многие утверждают, будто цветных снов не бывает вообще. А мне они не только снятся, но порой во сне я даже думаю, что если не бывает цветных снов, как же назвать то, что я вижу сейчас.

Открываю глаза. Первое, что я делаю, — ищу взглядом котят, но их нигде нет. Восходящее солнце отражается в оконных стеклах. У калитки лает собака. Мне кажется, это Мурия. «Какая умная была собака», — словно услышал я чей-то голос; тут я окончательно проснулся, и лай прекратился. Воцарилась какая-то неестественная тишина.

— Война началась! — отчетливо произнес кто-то во дворе. И опять стало тихо.

«Какая война?» — подумал я, посмотрел в небо и увидел одно-единственное неподвижное белое облако. Не шелохнется ни один листочек на дереве. Не лает собака.

«Мы же убили Мурию!..» — подумал я с тяжелым сердцем, и от этой неестественной тишины меня дернуло.

В то утро, а вернее в ту ночь, началась война.

Люди всполошились, встревожились, но не впали в отчаяние. Утверждали, что война быстро кончится, но верили в это сами или нет, сказать было трудно. С молниеносной быстротой распространялись исключавшие друг друга слухи и предположения. Отличить вымысел от правды было невозможно, но я чувствовал, что произошло что-то непоправимое, роковое.

На следующий день мой товарищ сказал мне: халва уже не продается и вообще ее больше не будет, кончилась. Сперва убили Мурию, а теперь халва кончилась. Какое страшное горе обрушилось на нас: неужели я так и проживу свой век, что никогда уже больше не попробую халвы. А может быть, все это только выдумки. Не из-за халвы же, в конце концов, началась эта война!

Пожар

ЧУТЬ ниже нашего дома стоял конный эскадрон, занимавший два пустыря по обе стороны улицы. Ближе к вокзалу, недалеко от магазина и дома Кераташвили находились подсобные помещения (от них и следа не осталось) и огромная конюшня. Нигде после того я не видел ничего похожего на это строение.

Выкрашенное коричневой краской, местами вылинявшей и облупившейся, с глухой задней стеной и со множеством дверей на фасаде, деревянное здание это напоминало собой гигантскую люльку, украшенную арками и колоннами, с одним-единственным смотровым окном под крышей, с выступавшими над карнизом стропилами.

Однажды ночью это необычное здание загорелось. Огромное пламя вырвалось прямо из-под крыши и озарило погруженный во тьму город.

Солдаты, горожане, пожарники — все смешались в одну толпу. Трудно было разобрать что-нибудь в этом невообразимом хаосе и шуме.

С необыкновенной быстротой сгорали сухие доски и огромный давнишний запас сена. Душераздирающее ржание коней смешалось с гулом и треском полыхавшего пламени, которое вместе с дымом и красноватой копотью взметалось в небо. Раскаленные головни подскакивали вверх и, рассыпаясь в воздухе искрами, падали на землю.

Храпели и ржали привязанные к яслям кони. С грохотом разваливались по частям стены конюшни.

Еще немного, и пожар перекинулся бы на соседние здания. Языки пламени уже лизали крышу противоположного дома. Распахивались окна и двери, люди выбрасывали на улицу свои пожитки. Звон разбиваемого стекла и женские крики терялись в общем шуме.

Кто-то сказал, будто лошади не выходят сами из огня. В достоверности этого заявления я не уверен и по сей день. В ту ночь я наблюдал, как выводили их поодиночке, а потом они и сами стали выбегать из горящей конюшни.

Ветер крепчал, врываясь в эту огненную геенну, кружился, разжигая еще сильнее и без того бушующее пламя, то раскачивая его языки, то подкидывая их высоко в небо, которое тут же окрашивалось багряным цветом.

Метнувшись вправо, огонь озарил двор, черных от сажи солдат, командира в распахнутой на груди гимнастерке, спасенных, дрожащих коней. Не ожидая приказа, солдаты сами врывались в конюшню. Пожилой командир охрипшим голосом отдавал команду. Вдруг на какое-то мгновение все погрузилось во тьму и раздался грохот. Наверное, что-то взорвалось. Неожиданно наступила тишина, и на улицу выбежала лошадь с горящим на спине снопом сена. Все расступились перед ней. Лошадь метнулась в темноту тупика, сверкнув там несколько раз между домами.

За горящей лошадью бежал солдат, в руке у него был мокрый брезентовый плащ. Он звал коня по имени, в голосе его слышалась мольба. Оба они через какое-то мгновение исчезли, и цокот копыт потонул в грохоте обвалившейся крыши.

Настало утро, спокойное, безветренное, ясное.

Я проснулся с тяжелым сердцем. В ушах у меня все еще звучало ржание коней. Сразу же после того,

как рухнула крыша, меня отвели домой, и я не знал, что случилось потом.

«Лошади, наверное, спасены — сгорели только се- но и конюшня, — думал я в страхе, стремясь сам себя в этом уверить. — Пополудни этих умных коней снова поведут на водопой к Цкалцитэла, искупают их там и расчешут им гладкую шелковистую гриву».

Наверное, так оно и будет. И война скоро кончится. И халва появится. И котят с голубыми лентами нарисуют на стенах. Все будет как прежде, и только...

Мурию уже не оживить. Никто не сумеет помочь погибшим в огне лошадям. И многие, очень многие не вернуться с войны домой.

Останься хоть ты, ради бога!..

БРАТЬЯ встретились друг с другом на краю сада. Высокий ширококостный мужчина с продолговатым лицом и массивным подбородком, в сапогах, в фуражке цвета хаки на голове, держал в руке сложенную вдвое кожаную папку. Он поздоровался с нами, справился о здоровье, правой рукой взялся за железную ограду. «Когда едешь?» — спросил он у моего отца. — «На днях», — ответил отец. Тот задумался, поставил ногу на камень, согнулся, не убирая руки с железной ограды, и сказал: «Отвези этого ребенка в деревню, зачем ему быть здесь в такую жару!»

— Послушай, останься хоть ты, ради бога. Не все же мы должны ехать, останься хоть ты!

— Ты старше, ты и оставайся.

— Мое дело другое, а у тебя брoня, по своей воле едешь...

— Это правда, еду я добровольно...

— Едешь, значит... — растерянно проговорил старший брат.

— Еду... — так же растерянно ответил младший, и вдруг неожиданно глаза его зажглись недобрым блеском. Я заметил, как он еще крепче сжал рукой же-

лезную ограду. — А что мне делать? Остаться здесь и смотреть на этого... — он кинул взгляд в сторону исполкома и в чей-то адрес произнес такое слово, которое при детях обычно не произносят.

— Да... — сказал старший брат.

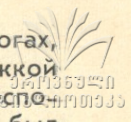
Кажется, они больше ничего не сказали друг другу. В сорок втором пришло извещение о его гибели.

Близкие оплакали его. Родных утешали, говорили, что многие получали похоронки, а потом оказывалось, что человек жив, приводили в пример аналогичные случаи. Даже кое-какие обнадеживающие сведения не раз приходили к нам с фронта. Позднее появились и свидетели, опровергавшие официальную версию. Одни говорили так, другие этак. Но толком никто ничего не знал. Истину же через несколько лет после окончания войны раскрыл один наш земляк, некий Поцхверидзе. Долгое время он молчал, не хотел говорить правды. Пусть, мол, родные считают его живым, — так он, оказывается, думал.

— При отступлении, — рассказывал Поцхверидзе, — у нас на глазах убили одного парня, нашего односельчанина, сына таких-то (он назвал родителей парня — их уже не было в живых, а то бы он по-прежнему хранил это в тайне). В свое время отец этого парня просил Отиа опекать его сына на фронте. Говорил, что он слишком робок, что двух слов по-русски связать не может, будь, говорит, добр, присматривай там за ним, на тебя, мол, вся моя надежда. Каким-то чудом этот парень оказался в отряде Отиа и был убит при отступлении.

Мой дядя Отиа решил во что бы то ни стало похоронить его. Дядю пытались отговорить, но он ни в какую. «Этого парня, — сказал он, — поручили мне, и я не могу оставить его на поругание врагам. Я должен похоронить его, иначе с какой же совестью вернусь в Грузию, если останусь в живых», — сказал он; похоронил убитого, и тоже погиб. И никто не знает, кто же похоронил его самого.

Кто-то сказал, что не будь этого случая, Отиа, наверное, сейчас был бы жив. Конечно, всякое бывает. Если бы не пошел он на войну добровольцем, и этого случая в его жизни не было бы.



Я как сейчас помню высокого мужчину в сапогах, одетого в сорочку цвета хаки и с такой же фуражкой на голове; помню, как стоял он в раздумье, обеспокоенный и все-таки уверенный в себе. У него был взгляд человека, уверенного в своей правоте, принявшего важное решение, от которого его никто не заставит отступить. Сильной рукой он опирался на железную ограду.

В мельничной запруде поймал я усача

ГОРОД опустел по-
степенно, но каза-
лось, будто это случи-
лось сразу. Все мужчи-
ны — родственники, близ-
кие, дяди, соседи ушли

на фронт. У магазинов выстраивались бесконечные оче-
реди, несмотря на то, что бесследно исчезла не только
халва, но и многое другое.

Мать и дочь Кераташвили отправились на мельницу, и меня послали вместе с ними. Взвалили мне на плечи почти полпуда кукурузы, то есть примерно столько же килограммов, сколько мне было лет. Выйдя из до-
му, я легко подхватил ношу, думая, что донести ее до места пара пустяков, но с каждым шагом кукуруза становилась тяжелее, а дорога длиннее; подкашивались колени и звенело в ушах. Я остановился, опустил груз на землю, перевел дух. Кераташвили тоже остановились. Они так же, как и я, не привыкли таскать тяжести, и тоже впервые несли мелево. Они стояли молча, поглядывали в мою сторону, обмахивая газетой разгоряченные лица и плечи.

Каждый раз после этого я делал остановку именно на этом месте. Каждый раз, выйдя за порог, я вначале легко подхватывал ношу, думая, что так же легко донесу ее до конца, и каждый раз на одном и том же месте надрывался. Сейчас я понимаю, что рановато мне было тогда таскать тяжести.

В тот день мы с трудом добрались до места. Впервые увидел я Цкалцитэла и дорогу к мельнице. Окинул взглядом реку, мост, канал, запруду и, опьяненный этим зрелищем, опередил женщин. Миновав запруду, я направился прямо к мельнице, которую нетрудно было

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

распознать. Я остановился под навесом. Следом за мной, едва переводя дыхание, подошли мать и дочь. Раскрасневшиеся, они какое-то время постояли под навесом, обмахиваясь газетой, потом вошли внутрь мельницы.

Кераташвили-дочь, ученица седьмого класса, была выше и крупнее своей матери. Отца у нее не было; по-моему, она его вообще никогда не знала. С начала войны и до конца ее на дочери не отразилось отсутствие отца, а на матери отсутствие мужа, обе они выглядели полнокровными и здоровыми.

Народу на мельнице оказалось довольно много. Потолочные балки, стены, желоб и жернова — все было покрыто белой мучной пылью. Какое-то время я прислушивался к мельничному гулу и к женским разговорам, а потом вышел на улицу, присел на известковую ограду близ запруды и опустил разгоряченные и потрескавшиеся от ходьбы по щебню и камням ноги в прохладную воду. Под мостом купались мальчишки. Повыше у плотины тоже было полно голопузых ребятишек. А у крутых берегов, где мелководье, они ловили рыбу удочками и даже прямо руками.

Я освежился, отдохнул, после чего мне уже расхотелось купаться. А может быть, я просто постеснялся входить в воду, несмотря на то, что умел плавать.

Так и сидел я, шлепая босыми ногами по воде, оглядывая покрытые колючим кустарником серые известковые горы, окрестности Годогани и Квехчири, движущийся вдоль по плоскогорью паровоз и поезд, окутанный клубами пара. Шлепая и болтая ногами и руками в воде, уйдя в свои мысли и о чем-то мечтая, я вдруг неожиданно для себя ощутил в руке рыбу. Оцепенев от неожиданности, но все-таки не растерявшись, я вонзился в нее ногтями и вытащил из воды усача величиной в одну пядь. Он затрепыхался, чуть не выскользнул у меня из рук в воду, но я изо всех сил вцепился в него.

Меня тут же окружили мальчишки, откуда, мол, где, в каком месте поймал его. Я растерялся, не время было сейчас хвастать и красоваться, так как несколько загорелых до черноты парней уже поглядывали в мою сторону угрожающе. К счастью, в это время вышли из мельницы Кераташвили. При виде

этих рослых женщин голопузые мальчишки отстали от меня и постепенно разбрелись в разные стороны.

Кераташвили-дочь вернулась на мельницу, вынесла оттуда старый глиняный горшок с отбитой ручкой, наполнила его водой, взяла у меня из рук еще живую рыбу и бросила ее внутрь сосуда. Уже задыхавшаяся без воды рыба вяло вильнула хвостом и, едва переведя дух, опустилась на дно горшка.

Старшая Кераташвили сказала, что очередь наша подойдет не скоро и что лучше сейчас уйти, с тем чтобы вернуться под вечер. Мы направились домой. Горшок забрала дочка. Несмотря на мои просьбы и уговоры, она ни за что не дала мне его в руки. Говорила, что я его могу разбить, и тогда, говорит, мы пропали. Она сказала, что вырастит этого усача, а после покажет мне его... Простилась со мной у калитки моего дома и удалилась вместе со своей мамой, рыбой и горшком.

Куда еще было расти этой рыбе. Все свое детство после этого я провел на Цкалцитэла, но ни разу и в глаза не видел рыбу величиной с того усача, который, вероятно, уже по дороге испустил дух.

В сумерки мы вернулись обратно на мельницу за помолом.

— Твоя рыба чувствует себя хорошо, растет, — сказала мне Кераташвили-младшая, хотя я ни о чем ее не спрашивал.

И стоило ли спрашивать! Было ясно, что они уже съюпали ее.

Реки вспячь не текут

ПО ДОРОГЕ двигался

поток новобранцев. Они шли пешком из отдаленных районов. С вокзала их отправляли эшелонами до распреде-

лительных пунктов, а оттуда прямо на фронт. Шли они усталые, запыленные, с рюкзаками, мешками или просто узелками за спиной. Пройдя мимо нашего дома, сворачивали на Сакирскую улицу и, дойдя до вокзала, располагались на товарной плат-

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.



форме. Там, отдохнув и подкрепившись взятой в дорогу едой, они начинали кутить. Выпивку приносили с собой, а те, кто ее не имел, покупали. Провожающие родственники, близкие, знакомые и даже незнакомые приносили с собой вино, чтобы благословить новобранцев, собирались группами, до отхода эшелона пели, плясали, шумели. Отовсюду неслись звуки гармони, доли и пандури.

Новобранцы плясали с рюкзаками за спиной, возбужденные, с перекошенными лицами. Плясали, вскакивая друг другу на спины. Таких плясок я не видел ни до (собственно говоря, где я мог их видеть!), ни после того. Я был свидетелем и того, как плясал отец, подняв на руки уходящего на фронт сына.

Вечерело. С шипением выпуская клубы дыма, рассыпая искры, пыхтя и вздыхая, грохоча тамбурами и поскрипывая шпалами, двинулся паровоз, потянув за собой эшелон, конца которому не было видно. Молодые парни на подножках вагонов, цепляясь за поручни, наполовину высунувшись из окон, прощались со знакомыми и незнакомыми, родными, близкими, с сестрами и братьями, с родителями, с женами и детьми, и все до единого обещали скоро вернуться.

На следующий день вереницы новобранцев вновь наводнили дорогу. Шли они с рюкзаками, вещевыми мешками и даже узелками за спиной, усталые, запыленные, разморенные.

Между нашим домом и забором Габедадзе проходила канавка, обычно полная воды в любую погоду. Туда собиралась вода, утекающая из водопровода и просто сточная. Одним словом, это была обыкновенная сточная канава, выведенная на улицу, где сообщалась с коллектором.

Однажды разморенный полуденным зноем безумный новобранец выбежал из строя, кинулся к нашей канаве и, прежде чем я успел окликнуть его и предупредить, припал к воде. Я хотел крикнуть, чтоб он не пил эту воду, но было поздно.

Новобранец склонился над ямой, и, подставив ладони под каменный желоб, жадно пил льющуюся от туда воду. Утолив жажду, он кинулся догонять свой отряд, вытирая на ходу губы и отряхивая мокрую шапку.

...Наша канава напомнила ему чистый родник его деревни. Он думал, что всюду такая же чистая вода, как там, откуда он родом. Кто знает, куда потекли ручей или река его жизни, куда влились, где застоялись, где пересохли...

А может быть, он благополучно прошел свой путь от начала и до конца, но ведь реки вспять не текут. Они возвращаются уже не реками, не чистыми ручейками, а совсем иными, ну хотя бы в виде весеннего дождя.

Братья из Дзеври ВОЙСКА все шли и шли и в последующие дни. Лошади тащили за собой пушки со снарядами в ящиках на лафетах. Шли вооруженные с ног до головы солдаты с шинельными скатками через плечо. Тяжело шагали они по дороге, вперемешку с лошадьми, пушками и дымящимися кухнями.

Усевшись верхом на калитку, я наблюдал, как нескончаемым потоком шли по улице войска. Если какой-нибудь усталый солдат, вдруг заметив меня, улыбался и махал мне рукой, радости моей не было предела. Ухо мое привыкло к шуму голосов, скрипу колес, ржанию коней, к треску и шипению дымящихся походных кухонь. Шум этот заполнял меня целиком, завораживал, вселял в мою душу какую-то радость.

Однажды один из солдат, шагающий в крайнем ряду, вытянув тонкую шею, уставился на пустые оконные рамы нашего дома. Недостроенное здание не раз привлекало к себе внимание прохожих, поэтому я не удивился. Но солдат, самовольно отделившись от строя, так неожиданно вбежал к нам во двор, что даже не заметил меня, оседлавшего калитку; он взбежал вверх по лестнице на балкон. Куда это он мчится, подумал я и слез с калитки, стараясь не производить шума, но солдат все-таки наострил уши, обернулся, широко улыбнулся и кинулся ко мне.

— Ты меня узнал? — спросил он, едва переведя дух.

Резо Чейшвили. Ветер донесит музыку.

— А как же? Конечно узнал, — ответил я и тоже почему-то разволновался.

Он спросил, есть ли кто-нибудь в доме.

Я ответил, что никого нет.

— Так и остался недостроенным ваш дом? Это не беда, кончится война и достроите... — он замолчал, еще раз огляделся, потом вдруг заговорил быстро, быстро.

Сказал, чтоб я передал матери, что он побывал здесь, пусть, говорит, она сообщит об этом нашим в Дзеври, я, говорит, ухожу на фронт, буду громить немцев. Потом улыбнулся мне, погладил по голове и, не прощаясь, убежал. Он догнал свой отряд, встал в строй и, чуть помешкав, зашагал в ногу с идущим впереди солдатом. Отряд свернул в переулок, и скрылся из глаз тонкошей, улыбчивый парень.

Он спросил, узнал ли я его. Узнал, конечно же, узнал парня из Дзеври. Это был племянник моего дедушки, один из близнецов — Кукура. А может быть, Бучута? Боже, кто же из них двоих? Наверное, Бучута.

Видно, само имя Бучута мне нравилось больше, чем Кукура, и поэтому я так и доложил своей маме, что видел ее двоюродного брата Бучута. Где, откуда, каким образом, — всполошилась она, — не может, говорит, этого быть.

— Как это не может быть! Он выскочил из строя, поговорил со мной и побежал дальше, ушел с отрядом...

Мама засыпала меня вопросами: когда, в какое время это было. Упрекнула, что я не задержал его хоть ненадолго. Мне ли было кого-нибудь задерживать, об этом она не подумала.

В тот же день мама встретила крестьянина из Дзеври, продававшего яблоки, и через него передала эту весть в деревню. Назавтра к нам приехали дедушкин брат со своей женой — дядя и тетя моей мамы.

Очкастый мужчина небольшого роста был выряжен по старинке в чоху, жена его, рослая женщина, была одета в пышное платье.

— Который из них приходил, детка, который? — женщина утирала слезы.

— Да погоди ты, дай ребенку подумать, — сер-

дился очкастый мужчина, с трудом справляясь с овладевшим им волнением.

— Бучута! — произнес я несмело.

— А может быть Кукура?

— Может быть, и Кукура... — слетело у меня с языка, как назло, и с этого начались мои муки.

От меня требовали, чтобы я во что бы то ни стало, хочешь не хочешь вспомнил, кто же из них здесь побывал.

— Это был Бучута, не Кукура... а может быть Кукура...

Знал ли я, кто это был?

— Может, ты вспомнишь, детка, Кукура был или Бучута? — умоляла меня женщина.

Я старался вспомнить, но не мог. И что мне было вспоминать! Я знал лишь то, что один из братьев здесь побывал.

Оказывается, с начала войны и до того самого дня от Бучута не было никаких вестей. Кукура же месяца два назад прислал им письмо с Сезерного Кавказа. О брате он ничего не сообщал. Родителям казалось, что сыновья в одной части, опять вместе, как это было раньше в деревне. Удивлялись, почему я не увидел второго брата. Может быть, он остался в строю, видел тебя, а ты его не заметил, — говорили мне они.

И я уже со всем соглашался, кивал головой.

А они снова и снова выпрашивали у меня, что он сказал, что просил передать, предполагали, что будь это Бучута, он сказал бы, где он сам находится, а Кукура сообщил бы что-нибудь о Бучута...

— Ничего он не успел сообщить, — повторял я, смущенный, растерянный. — Выскочил из строя, сказал, что едет на фронт, чтобы разгромить немцев...

— Что он должен сделать?

— Разгромить...

— А-а... А еще что, сынок? — очкастый мужчина нервно пощипывал ус.

— ...А еще он просил сообщить вам, что уходит на фронт и что был здесь. Потом побежал догонять свой отряд и ушел вместе со всеми.

Я уже сам себе перестал верить, мне казалось, будто я заврался, что-то насочинил. Может быть, я видел вообще другого человека, а не одного из братьев, думал я, окончательно растерявшись.

На следующий день дядя и тетя моей мамы привезли с собой фотокарточку братьев. Они сфотографировались вместе перед уходом на фронт. Меня просили всмотреться в нее и вспомнить, кто же из них здесь побывал. Что я мог им ответить? Как две капли воды походили они друг на друга. Казалось бы, кроме имен никакого различия между ними не было, но для родителей каждый из них существовал отдельно, и боль и тревога в их сердцах были поделены на две части.

Мне было невыносимо тяжело видеть этих измученных, убитых горем людей, но я уже не мог избежать расспросов и просьб. Дошло до того, что я чуть было не заявил, что все это мои выдумки и никто сюда вообще не заходил.

Кончилась война.

Кто же тогда здесь был — Кукура или Бучута, по-прежнему спрашивали меня родители близнецов, хотя сами они с трудом различали их в свое время. А уже потом смутный образ детей слился в их представлении в одно целое и они больше не вспоминали своих сыновей по отдельности. Время шло. Воспоминания войны становились бледнее, боль постепенно притуплялась. Родители ждали своих близнецов, хотели увидеть их вместе, но они не возвращались ни вместе, ни врозь. Старики теряли зрение, но по-прежнему смотрели на дорогу, ждали возвращения детей, ждали, уже утратив надежду.

Так и ушли они из жизни один за другим. И закончилась история братьев из Дзеври.

Станция Пастера

ПРИВЕЗЛИ первых раненых, и в тот же вечер мения укусила кошка. Кошка может исцарапать, но

укусить — это уж слишком, удивитесь вы наверняка, и будете абсолютно правы. Тем не менее меня в самом деле укусила кошка и даже чуть не откусила палец. Во всяком случае содрала ноготь. Наверное, это была из-

голодавшаяся одичавшая кошка. Она перескочила через забор и повисла на балконном столбе, я схватил ее (за чем, спрашивается?), и она укусила меня и тут же укусилась.

Откуда она взялась, какой была породы и происхождения, установить не удалось. Наверное, она бешеная, сказал кто-то. Бешеная или не бешеная, один бог знает. Говорили, что нормальная кошка почти никогда не кусает человека. И решив, что береженого бог бережет, помчались меня на станцию Пастера. Там мне оказали первую помощь и сказали, чтобы я пришел утром. На следующий день взрослым уже было не до меня, и я один-одинешенек отправился в путь. Первый раз в своей жизни я один, без взрослых, пришел в центр города, в то самое здание, где накануне меня осмотрели.

— Этот? — спросила пожилая, седая женщина-врач с приятным лицом.

Медсестры ответили утвердительно.

Врач внимательно меня осмотрела и тепло улыбнулась, сказала, что все обо мне уже знают, все говорят о том, что кошка укусила мальчика. Во время этого разговора медсестра начала заполнять анкету.

— Фамилия? Имя? Отчество? Место рождения, социальное происхождение и так далее.

Комплекция, возраст, цвет и выражение глаз кошки остались невыясненными. Решили остановиться на том, что кошка эта крайне агрессивная и бездомная.

— Есть у тебя братья и сестры? — спросила меня врач.

— Есть, маленькие.

— Маленькие... Выходит, сам ты большой. А где отец?

— На войне.

— Такие-то дела, мой хороший, — задумчиво произнесла врач.

Она сказала, что мне придется сделать много уколов, что я уже не маленький, что я сам уже должен присмотреть за маленькими. Она говорила, что мне будут делать всего один укол в день, что это не больно,

что я даже не почувствую его и что следов укола не останется, только я обязательно должен прийти завтра, обязательно должен приходиться каждый день в одно и то же время. Она столько раз употребила слово «обязательно», что я поневоле убедился во всей серьезности создавшегося положения. Ясно, что отказываться не имело никакого смысла. Ничего не поделаешь, я должен был являться сюда ежедневно в одно и то же время, раз это было действительно необходимо.

Каждый раз, как только солнце начинало клониться к западу, я отправлялся на пастеровскую станцию, шлепая босыми ногами по горячей каменной мостовой. Не спеша входил я в полупустое здание станции, молча стоял в вестибюле с выложенным черно-белыми плитками полом и рассматривал стенды и плакаты. Оставшиеся без дела медсестры удивлялись при виде меня: «Пришел?» — спрашивали они всякий раз, улыбались и обращались со мной вежливо. Не будучи приученным к подобному обращению, я терялся. «Какой застенчивый ребенок», — слышал я, как говорили обо мне, и ноги у меня заплетались. Я входил в большой, покойный, чистый кабинет врача, где в строго определенном порядке были расставлены какие-то странные шкафы с колбами, мензурками, банками с закручивающимися крышками и другие предметы непонятного назначения. Врач расспрашивала меня о том, о сем, делала укол, потом давала мне отдохнуть, хвалила меня. Очень, говорит, ты хороший и смелый мальчик, и я уходил.

Мне было непонятно, что находила она в моем поведении заслуживающего похвалы. Как только солнце начинало клониться к западу, я отправлялся в путь, босиком по раскаленной мостовой, спускался вниз, в центр города, входил в здание пастеровской станции, некоторое время стоял в ожидании на прохладном, выложенном черно-белыми плитками полу, разглядывал стенды и плакаты, потом мне делали укол в живот, и той же дорогой я возвращался домой. Вот и все.

Сорок дней ходил я туда и обратно и не рассказал об этом никому. Стоило ли рассказывать о кошке! Если бы меня укусила собака (в дальнейшем и в этом у меня не было недостатка), тогда еще было бы о чем

рассказывать. Собака — это все-таки собака, а кошка всего-навсего кошка.

Года два назад я побывал на тбилисской пастеровской станции и был поражен. Даже представить себе невозможно, сколько мирных граждан пострадали в этом городе от домашних и диких животных. Чем же можно объяснить то, что во время войны эти станции были такие безлюдные? Выходит, животные в то время не кусались. Причину найти, конечно, можно, но, я думаю, это уведет нас далеко, поэтому лучше вернуться к тбилисской пастеровской станции, где я встретил довольно много людей, покусанных не только кошками, но и теми животными, чьи укусы можно считать еще более унижительными, как, например, укус крысы или же сурка. У кабинетов выстраивались бесконечные очереди. Очередь соблюдали все без исключения.

...И вот там я встретил человека, которого укусил лев. Это был представительный солидный мужчина. Рука у него была ободрана от плеча до запястья. Надо было видеть, с каким достоинством прохаживался он по коридору.

— Вот идет человек, которого укусил лев, — шептались вокруг пациенты, почтительно уступая ему очередь. Они с завистью и сожалением смотрели на раненого мужчину, который в зоопарке «просто так, для интереса» просунул руку в клетку льва.

Суворов

В ТОТ год в наш город переехали из Москвы Суворовское военное училище.

Мальчишки в красивой парадной форме строевым шагом ходили по улицам, сопровождаемые оркестром и городскими ребятами. Мы следовали за ними повсюду, не в силах скрыть восторга и изумления.

У станции Сапичхиа жила одна женщина. Я не знал ни имени ее, ни фамилии. Каждый день в одно и то же время появлялась она у патаридзевского сада, отправляясь на работу, спускалась вниз по улице, возвращаясь же с работы, по этой же улице поднималась вверх. Она носила туфли на очень высоких каблуках, и иной раз, стоило ей только задуматься, она еле

удерживалась на ногах. Лицо ее было сильно набелено. Ее тощий сынишка иногда играл вместе с нами. И ростом и возрастом он был меньше нас, и когда мы играли мяч, он путался в ногах, поэтому мы чаще ставили его в воротах. Его мать выделяла меня среди остальных ребяташек настолько, что каждый раз, проходя мимо по улице, останавливалась, рассматривала меня, улыбалась и даже гладила по голове. Ее чрезмерное внимание раздражало меня, и я старался не замечать эту женщину, а иногда даже прятался от нее. Я и представления не имел о том, что между мной, ею и Суворовским училищем могла бы возникнуть какая-нибудь связь.

Однажды эта женщина сказала мне, что должна меня куда-то повести. Интересно, куда она собиралась меня вести, когда ее собственный сын без присмотра околачивался на улице. Я сразу же учуял, что замыслила она что-то не в мою пользу.

Я спросил тощего мальчишку: что нужно от меня твоей матери и чего вообще она ко мне привязалась.

Откуда я знаю, огрызнулся он, и даже добавил в мой адрес бранное слово, за что и получил пинок. Он хотел кусить меня, но я увернулся.

В тот же вечер его мамашу я увидел у нас дома. Наверное, она пришла из-за того, что я поколотил ее сына, подумал я, расстроившись и испугавшись. Женщина же встретила меня тепло, безо всяких упреков. Она сидела посреди комнаты, у стола. Рядом, на полу, стояла ее черная круглая, как колесо, сумка. Густо набеленное лицо ее блестело под тусклым электрическим светом.

Она говорила моей матери, что не отличает меня от своего сына. Говорила она с мамой на «вы», очень почтительно, и это меня удивило. И лишь потом только я вспомнил, что они видели друг друга впервые. Задолго до моего прихода сидели и беседовали эти две недавно познакомившиеся женщины. Тема разговора у них иссякла, и если бы я еще немного запоздал, им пришлось бы отложить на завтра дело, о котором они говорили. Оказывается, эта женщина хотела определить сына в Суворовское училище. Она не надеялась, что его туда зачислят, и собиралась представить на врачебной комиссии меня. Так она и сделала, хотя угово-

рить меня оказалось не так легко, как она предполагала.

— Значит, он должен пойти вместо... как зовут ва-шего сына?

— Гела.

— Он должен пойти вместо Гелы? — растерянно спрашивала мама.

— Да, уважаемая, ведь он мне тоже как сын, какая разница...

— Но если об этом узнают, может быть еще хуже, — возражала мама. — К тому же мой мальчик ни за что не станет скрывать свое настоящее имя и фамилию и просто осрамит нас!..

— Все члены этой комиссии русские, они не знают грузинского. Я скажу, что он не знает русского, сама буду говорить за него, — уговаривала нас необычная просительница. Мама колебалась, но отказать не могла и не знала, как быть.

Короче говоря, в один прекрасный день мы с этой женщиной отправились в военный госпиталь на врачебную комиссию. Как только мы вошли во двор, моя названная мать предупредила меня, чтобы я говорил только по-грузински. Попросила таким тоном, будто я нуждался в каком-либо предупреждении.

Все члены врачебной комиссии оказались грузинами, за исключением одной женщины. Это была врач, которая приходила однажды к нам в школу, чтобы сделать нам анализ крови. Я не проронил ни слова ни по-русски, ни по-грузински, и тем не менее моя названная мать совершенно неуместно утверждала, что я не знаю русского и, словно в подтверждение своих слов, не переставая говорила только по-русски.

— Очень плохо, что не знает... — на чистейшем грузинском языке произнесла русская женщина-врач.

Я смутился, покраснел. Не совсем так обстоят дела, хотел я возразить, но воздержался. Вскоре комиссия закончилась, меня нашли «абсолютно здоровым» и простились со мной и с моей названной матерью, которая была обрадована исходом дела. Она купила мне мороженое, поцеловала меня, обдав резким ароматом духов, поблагодарила и отпустила домой, а са-

ма помчалась дальше собирать еще какие-то справки и документы.

Тощего мальчишку, которого после этого прозвали «Суворовым», в военное училище не зачислили. Вернее, туда не приняли меня. В заключении было написано, что я абсолютно здоров, но что незнание русского языка помешает моей учебе в такого рода учебном заведении.

Лучше бы моя названная мать, дай бог ей счастья, повела на эту комиссию своего собственного сына. Рос он большей частью на вокзале, умел лопотать по-русски, и если бы не хилое сложение, здоровье у него тоже, я думаю, было получше моего.

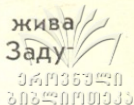
Каждый день в одно и то же время проходила мимо сада Патаридзе моя бывшая названная мать, окидывала меня равнодушным взглядом, уже не улыбалась и ни о чем не спрашивала. Осунувшаяся, усталая, с запавшими глазами ходила она вверх и вниз. Одета она была в одно и то же накрахмаленное вытуженное платье. Лицо ее по-прежнему было набелено, и она по-прежнему носила высокие каблуки и, стоило ей только задуматься, еле удерживалась на ногах, качнувшись на каменной мостовой. До меня ли ей было сейчас, свои заботы и своя боль одолевали ее. Не подумайте, что она была обижена на меня или хотела упрекнуть в чем-то. Ей, потратившей энергию впустую, отчаявшейся и огорченной, надо было вырастить еще трех таких же, как «Суворов».

А тощий мальчишка жил беспечно и независимо. Рос, как орленок. Не грезилось ему по ночам Суворовское училище, и не был он помешан на военной форме, подобно некоторым. Когда звали его Суворовым, он скалил зубы, довольный этим прозвищем, и оно так ему нравилось, что постепенно у детей отпала охота шутить, и они вернули ему его прежнее имя.

Я встретил его в позапрошлом году в Каспи, у памятника Георгию Саакадзе. Он вышел из магазина с парой мотоциклетных покрышек в руках. Сказал, что работает начальником колонии, но я усомнился. Одет он был в форму МВД, но чин и покрышки выдавали его.

Как, говорю, поживает твоя мама. Спросить, жива ли она, я не решился. Ничего, говорит, спасибо. Заду мался и немного погодя добавил:

— Постарела, бедняжка!



Кто он был, этот человек?

ВО ДВОРЕ нашего недостроенного дома, под навесом валялось два огромных буковых бревна. Когда и кто их сюда приволок, не помню. Бревна

эти должны были пойти на дрова, только некому было их распилить и наколоть.

Председатель районного комитета Эрмиле Кохреидзе снял очки, внимательно осмотрел бревна и сказал: «Я пришлю вам пильщиков. Мы не оставляем без внимания семьи фронтовиков, — добавил он, — оказываем им всяческую помощь».

И действительно, через несколько дней к нам явились два пильщика, низенькие, седые старички. Одетые в телогрейки, они поеживались от холода. Принесли с собой клинья, молот и, конечно, пилу.

Сначала, сказали они, распилим, а потом нарубим, на все это уйдет одна неделя. Запросили таких денег, каких сами эти бревна не стоили. Мы стали торговаться, они захныкали, чуть сбавили цену, но, так и не договорившись, ушли.

В ту зиму мы кое-как перебились оставшимися от строительства досками, щепками, опилками и стружками, которых было полным-полно.

Весной к нам приехал родственник из Аджарии. Вернее, он был родственником маминого зятя. Как говорится, седьмая вода на киселе. Он рассказал, кем он нам приходится, и остался ночевать.

Это был молодой, широкоплечий, узкобедный мужчина. На нем были сапоги в обтяжку, перехваченная ремнем рубаха навыпуск и коверкотовый пиджак, который тогда называли тужуркой. Спать в доме он не остался — спустился во двор, расстелил на длинном столлярном станке остатки соломы, тряпье и циновку. Мы воспротивились, просили его войти в дом, но он ни за

С. А. КОЛОДИЦА
ИЗДАТЕЛЬСТВО



Рис. Д. Эристави.

что не согласился. Сказал, что так ему будет лучше, что он привык к такому ночлегу.

Мама послала меня к нему с одеялом и мутакой. Я спустился как раз в то время, когда гость стаскивал

с себя коверкотовый пиджак. Он снял ремень и положил его на табурет. Взгляд мой упал на пристегнутый к ремню маузер, и это смутило гостя. Он мгновенно обернулся ко мне, набросил тужурку на ремень с маузером, улыбнулся, глядя на меня испытующе. Взял одеяло и мутaku, как-то задумчиво поблагодарил и отпустил меня.

В то утро я проснулся очень рано. Как только начало светать, я выглянул в окно и увидел, что гость наш уже на ногах. В своем коверкотовом пиджаке, в шапке и в сапогах, стройный и подтянутый, ходил он по двору. Мы пригласили его в дом. Он поднялся, выпил чай, нехотя поковырялся в еде; к нашему пайку хлеба он и не притронулся. Сказал, что утром достаточно и одного чая. Порасспросил нас о том, о сем. Заинтересовался, почему валяются внизу эти бревна.

Мы ответили, что не смогли их распилить и наколоть, потому что с нас за это потребовали большую плату. «Так», — сказал он и спустился во двор.

До полудня он беспокойно ходил от калитки до навеса и обратно, словно места не находил. Время от времени выглядывал на улицу — ждал он кого-то или от кого-то прятался, я не мог понять.

— Есть у вас топор? — спросил он меня уже после полудня.

— Есть, конечно есть... — сказал я и заколебался, вспомнив наш никудышный топор.

— Принеси-ка его сюда, — сказал он мне.

Я быстренько вынес ему этот топор с треснутой и расшатанной рукояткой. Он взял его из моих рук, оглядел и рассмеялся.

— Это вы называете топором?

Я тоже от души расхохотался. Почему-то мне показалось смешным, что это недоразумение мы называли топором.

— Сейчас узнаем, топор это или не топор! — сказал гость и положил его рядом с бревном так осторожно, словно боялся повредить. Затем расстегнул ремень и так ловко снял с себя и повесил на гвоздь коверкотовый пиджак, что я не успел заметить оружие.

Взял топор, повертел его в руках и велел мне отойти в сторону.

Я отошел и подумал, что сейчас он начнет уродовать бревна.

Держа топор в одной руке, он хватил им по бревну и по всей длине отколол полено толщиной в кулак. «Разве это топор», — заметил он при этом. Размахнувшись, отколол еще одно такое же полено и так, не останавливаясь, стал рубить дальше. За всю свою жизнь я не видел ничего подобного — с такой силой и быстротой изрубил и искромсал он огромное бревно, потом взялся за второе, вспотел. Топор окончательно расшатался. Трещина дошла до обуха, топориче раздвоилось. Было видно, что от этого у гостя болела ладонь. Отколол он последнее полено, и топор окончательно поломался: лезвие отлетело в сторону, топориче осталось в руке у дровосека.

— И это вы называете топором... — тяжело вздохнул он и кинул расщепленное топориче в кучу поленьев. Удовлетворенно оглядел навес, полный дров, сказал, что работа здесь осталась легкая, что она и мне под силу. При этом он таким ловким, почти незаметным движением пристегнул ремень и надел тужурку, что я опять, несмотря на мои старания, не увидел маузера.

В сумерки к нему явились двое в полувоенной форме. Они отвели его в сторону и зашептались у калитки. Наш гость, как мне показалось, упрекнул их, что они заставили себя ждать. Сам он заметно побледнел и, если не ошибаюсь, нервничал. Вынул из кармана патроны, отстегнул маузер и вручил их одному из пришедших. Потом подозвал меня, попрощался со мной, попросил поблагодарить от него мою маму и ушел с одетыми в странную форму людьми. Быстрыми шагами пошли они вниз по улице и свернули в сторону вокзала.

На целых две зимы хватило нам дров, которые он нарубил.

Но куда исчез он сам — мне неизвестно и по сей день.

Несколько лет назад я спросил маму — «Кто был тот аджарец?»

«Который?» — никак не могла она вспомнить.

Тот самый, напомнил я ей, который в такое-то лето появился у нас от имени мужа твоей двоюродной сестры Мани, которая замужем в Бахмаро, неужели, говорю, не помнишь.

— Это тот, который сломал нам топор? — с трудом припомнила она.

Да, говорю, он самый. А кто он был, человек, который сломал нам топор? — все не отставал я.

Но мама этого не помнила.

Приехал, говорит, переночевал, сломал топор и уехал. Поди узнай, кто же он был!

Учительница рисования

ЗАВУЧ школы вошел к нам в класс с новой учительницей и представил ее ученикам. Сказал, что с сегодняшнего дня она будет учить нас рисованию, что рисование очень интересный предмет и сейчас, говорит, мы как раз и посмотрим, с каким вниманием и прилежанием вы приступите к его усвоению.

Молодая учительница, которая собиралась учить нас рисовать, была одета довольно необычно и смело для того времени, я бы сказал, слишком смело. У нее были каштановые, спадавшие на щеки волосы, большая грудь, полные губы и щербатые зубы. Она смеялась по любому поводу и все время откидывала назад спадающие на лицо волосы.

Она провела с нами беседу о рисовании и даже, если мне не изменяет память, о живописи. А теперь, сказала она нам, достаньте альбомы и цветные карандаши (ни того, ни другого у нас, разумеется, не было), резинки (резинки у нас были) и нарисуйте овцу, привязанную к дереву цепью.

Сперва, оказывается, надо было нарисовать цепь, затем овцу, а потом уже фон. Она сказала, что для фона надо брать не реку, а дом на заднем плане. Низкий каменный дом с открытыми окнами, и что на подоконниках должны стоять горшки с цветами. Как оказалось потом, изображать фон (разумеется, не реку) было необязательно. Если, мол, успеете, нарисуйте, а

не успеете — ничего страшного. Главное — надо было нарисовать овцу, привязанную к дереву цепью.

Мы приступили к работе. Рисовали кто чем мог. Одни чернилами, другие карандашом, словом, чем попало и на чем попало: на линованных листах, на промокашках, на обложках книг. Вскоре прозвенел звонок, и мы успели нарисовать только цепь. Ни разу после того у нас уже не было урока рисования.

А учительницу рисования я видел раза два или три около учительской и несколько раз на улице, после чего я уже нигде ее не встречал. И на улице, и в школе одета она была вызывающе (тогда, правда, я еще не знал этого слова). Во всяком случае одевалась она не так, как принято было одеваться в то время.

Был январь. Я приехал домой на праздники. За весь декабрь ни одной снежинки не упало на землю, и в январе тоже стояли солнечные дни. Зато дул холодный ветер и по ночам морозило. В полдень, когда солнце глядело во все четыре окна залы, в комнате становилось тепло, и лишь свист ветра и монотонное поскрипывание ветвей инжира нарушали тишину. В тот день ветер усилился. Еще сильнее скрипели, вздыхали ветки инжира. Стукнув, распахнулась железная калитка во дворе и так же захлопнулась за кем-то вошедшим.

Женский голос позвал хозяев. Хозяева выглянули, пригласили гостью в дом. Я слышал, как она извинялась в прихожей. Не беспокойтесь, говорила она, я сама повешу пальто. Интересно, кто это пожаловал в такую непогоду, подумал я, и тут же увидел входящую в комнату полную женщину в преклонном возрасте, густые волосы которой были выкрашены в красноватый цвет.

Она, как оказалось, была преподавательницей музыки, давала частные уроки любителям игры на пианино.

Меня представили ей.

— Я играю только по слуху и обучаю тоже по слуху, — заявила она, показывая щербатые зубы.

— А нот вы не знаете? — спросил ее кто-то из присутствующих.

— Знать-то знаю, но обучаю по слуху. Вообще-то я не имею классического музыкального образования.

Одна песня стоила пять рублей, но в нашей семье ее оказалось желающих обучаться музыке.

Холодный ветер бил в стекла, раскачивал огромные инжировые ветки, выл и свистел по временам за окнами.

Преподавательница музыки как-то неловко сидела на краю стула и молчала. Если никому не нужна музыка, чего я здесь сижу, думала она, наверно. В эту сухую ветреную погоду на ногах у нее были боты. Я долго не мог припомнить, где я ее видел раньше, и вдруг узнал учительницу, которая тридцать лет назад дала мне первый и последний в моей жизни урок рисования. Где была она все это время? Где ее носило? Какие еще предметы преподавала она, прежде чем взялась за музыку?..

Ей предложили чаю. Она выпила чай, поела пирога. Согрелась, оживилась, под села к пианино и в какой-то страшно высокой тональности сыграла «Загляни в глаза другу», «Два кувшина я купила» и тому подобное.

То ли от звуков пианино, то ли от ветра дребезжали окна. Завывание ветра, скрип инжировых ветвей, звон оконных стекол и гром инструмента слились воедино. У преподавательницы музыки постепенно погас весь пыл. Она перестала играть, поняв, что не смогла произвести впечатления на окружающих, сказала, что пианино расстроено.

С ней согласились, подтвердив, что действительно оно расстроено.

— Я беру пять рублей за обучение одной песне, обучаю без нот, по слуху, — повторила она. — Сегодня ветер, и инструмент расстроено...

Уходить ей явно не хотелось.

На дворе было холодно и сухо. По улицам носил ветер, пронизывая до костей.

А она в такой день была в ботах.

Разве кто-нибудь еще ходил в ботах в сухую погоду?..

Переле

СУЩИМ дьяволенком был Мишико Перадзе по кличке Переле. Неугомонный забияка, очень способный, услужливый и невыносимый; тощий от постоянного недоедания, он

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

словно был создан для авантюры; воровал на вокзале уголь, ездил на пригородных поездах, лазил по эшелонам и прямо из-под носа мог утащить все, что плохо лежало, любой одушевленный или неодушевленный предмет: котенка, щенка, гвоздик, подкову, словом, без разбору таскал все, что ему было нужно и не нужно. Но не таким уж он был и ворюгой, просто общественное добро, к примеру, вымазанную мазутом шпалу, считал ничейной вещью, и в своем поступке он (да и не только он) не видел ничего предосудительного. Водил знакомство с бродягами, дружил со старшеклассниками, пользующимися сомнительной репутацией, и заносился перед сверстниками. Спеси в нем было много, силы поменьше, я лично несколько раз поколотил его как следует. Поколотил, потому что был сильнее, и тем не менее он часто заставлял меня плясать под свою дудку. Однажды он мне говорит: на вокзале стоит целый вагон ячменя. Ну и что, говорю я. Пошли, говорит, заберем.

— Весь вагон? — бездумно спросил я.

— Половину, — скаля зубы, ответил мне Переле.

Вообще-то, для чего нужен ячмень на вокзале? А может быть, его отправляли на фронт как корм для коней. В таком случае не только половину вагона, но и горсточку нам не дал бы никто. Нетрудно было догадаться, что Переле подбивает меня на кражу. Я отказался. «Не бойся», — успокаивал он меня, и лишь для того, чтобы доказать ему, что мне не страшно, я отправился вместе с ним. На кой черт иначе сдался мне этот ячмень!

Мы пошли. Пролезли по рельсам под заброшенным эшелонном. Остановились перед каким-то составом. «Вот здесь», — сказал мне Переле, показывая на огромный ржавый вагон, и вытащил из-за пазухи небольшой мешок.

— Есть у тебя во что насыпать?

Ничего у меня не было.

— Ладно, обойдемся, — обнадежил он меня.

Как это обойдемся, ячмень ведь не семечки, чтоб наполнить им карманы!

Не дав мне опомниться, он велел следовать за ним, скользнул вверх, словно ящерица, и оказался на крыше товарного вагона. Я полез следом. Ступив на кры-

шу, я вдруг провалился в ячмень. Это было очищенное отборное зерно (во всяком случае так мне показалось в потемках). Вечерело. Крыша вагона была пропитана сладковатым запахом дыма и копоти. Какое-то время я стоял в оцепенении, уже не помня, где нахожусь и что мне надлежит делать. Но вот я услышал, как где-то в углу скребется Переле. Эти звуки отрезвили меня. Сорвав с головы шапку, я наполнил ее зерном, и тут же снизу до меня донеслись чье-то перешептывание, приглушенные голоса, но я почему-то не обратил на это внимания. Не дожидаясь Переле, я осторожно стал спускаться вниз по отвесной железной лестнице. Как только я ступил на землю, кто-то схватил меня за ворот и вlepил такую оплеуху, от которой я, как мне показалось, раза три кувыркнулся. Шапка с зерном полетела в одну сторону, я — в другую. Хорошо еще, я не ударился затылком о рельс. Не потерять бы шапку, — первое, что промелькнуло у меня в голове. Мне нечего было искать, кроме этой шапки, и, к счастью, я увидел ее сразу, она валялась возле чьих-то грязных сапог. Я привстал, потянулся к шапке, а тот, который был обут в сапоги, потянулся ко мне и приподнял меня за ворот. Уже в воздухе я увидел, как еще кто-то схватил за ногу повисшего на лестнице вагона Переле, но тот ловким движением развязал мешок и высыпал зерно на голову противника. В тот же миг он sprыгнул на землю и юркнул между колесами вагона. «Себя спасает», — подумал я, глядя на эту картину, и лишь в эту минуту узнал начальника железнодорожной милиции Авало Кинцурашвили, который, держа меня за подбородок одной рукой, собирался ударить другой. Мне почему-то показалось, будто он тренируется сейчас на мне, готовясь к более ответственному случаю. Вдруг он пристально посмотрел на меня, остановился и, что-то заподозрив, спросил, как моя фамилия. Я ответил. Он на мгновение заколебался. Позвал кого-то, сказал ему: «Убери его отсюда» и ушел прочь, будто не узнал меня.

Этот Авало Кинцурашвили был троюродным братом моего отца. Человеком он был необразованным и продвинулся по службе благодаря нехватке кадров.

Фезо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

Поговаривали, что он согласился занять должность начальника железнодорожной милиции ради того, чтобы получить броню и не пойти на фронт, но может быть, это и неправда. У Авало была слава человека смелого и непреклонного, и трудно поверить, чтобы он позволил себе что-нибудь недостойное. Это был представительный плотный мужчина с круглыми, как у совы, глазами, в высокой каракулевой шапке пирожком. Одеваться он умел и на улице привлекал к себе взгляды прохожих.

Меня препроводили в милицию.

В дежурной комнате я увидел Переле. Он смотрел на меня сияющими глазами и скалил зубы. Я не догадался, чему он радуется, но сразу же понял, что чувствовал он себя здесь как дома.

В дежурке было натоплено, и у меня тотчас же запылала уши и щеки. Вместо дров в печи горел каменный уголь и от этого в воздухе стоял тяжелый запах; плыл оранжево-белый жар.

— Как только прибудет ткибульский поезд, нас отпустят, — прошептал мне примостившийся у печи Переле.

Положение мое было ужасным. Я не знал, действительно меня отпустят или нет, а до прибытия последнего ткибульского поезда мне уже надлежало спать крепким сном, и мама в ожидании меня, наверное, сошла бы с ума.

Дежурный милиционер дремал, сидя у стола, другой милиционер грелся, протянув ноги в мокрых сапогах чуть ли не в самую печь. От сапог исходил запах сырости, который вместе с паром медленно поднимался вверх, клубясь молочным туманом под самым потолком.

В комнату вошел еще сотрудник, чином повыше, возможно даже начальник отделения, деловито направился к столу дежурного и выдвинул нижний ящик. Сидящий у огня милиционер спрятал ноги под стул, дежурный же лениво потянулся и, изогнувшись, застыл на месте. Вошедший достал из ящика папку, развернул ее, равнодушно оглядел нас. «Этот все еще здесь?» — спросил он о Переле и уткнулся в папку.

Ему ответили, что да, мол, здесь.

— А этот? — спросил он обо мне.

— И этот.

— Как твоя фамилия?

Я ответил.

— Да... — сказал начальник отделения и захолоднул папку.

Ему доложили, что обоих нас поймали на краже ячменя.

— Для чего тебе нужен был ячмень? — спросил меня начальник отделения, в котором я чутьем угадал спасителя.

Я не смог ответить.

— Тебя спрашивают, для кого тебе нужен был ячмень?

— Для уток.

Раздался безудержный хохот. Откуда я взял этих уток, оказавших такое магическое действие на присутствующих, я и сам не знал.

— Где ты живешь?

Я ответил.

Чей, говорит, ты сын? Я и на это ответил, не собираясь ничего утаивать.

— Недостроенный дом рядом с Циквадзе — ваш?

— Да, наш.

Начальник отделения как-то странно посмотрел на меня. Я думал, он еще что-то спросит, но он отвел взгляд в сторону, повернулся к дежурному и, понизив голос, что-то сказал ему. Дежурный что-то ответил, начальник снова что-то ему сказал. До меня урывками доносился их разговор. Речь явно шла о нашем доме. Если, говорит, им повезет, если не все у них прахом пойдет, дом — это все-таки дом, а если нет, так уж ничего не поделаешь. Хотя, говорит, все равно его передадут государству, и тогда — кто знает... А впрочем, неизвестно, что будет потом, и дом — это все-таки дом и так далее.

Утки ли возымели действие или дом, который то ли не должен был перейти в пользование государства, то ли должен был пойти прахом у нас, или еще что-то в этом роде, — не знаю, но только отпустили меня тотчас же. Переле освободили сразу по прибытии ткибульского поезда, а может быть чуть раньше или чуть позже; во всяком случае там его не оставили, по-

скольку на следующий день он, как обычно, со школь-
ным ранцем за плечами явился в школу.

Переле все чаще появлялся в обществе битых пар-
ней. И учиться бросил; правда, позднее он все-таки за-
кончил среднюю школу. А после его арестовали, об-
винили в ограблении ткибульского поезда; припомнили
и старые грехи, к одному преступлению присовокупи-
ли другое и вкатили ему двадцать пять лет.

Авало Кинцурашвили получил повышение не только
за успешное проведение операции с кражей ячменя, но
еще и за какие-то другие заслуги, после чего его снова
повысили и через некоторое время повысили опять. В
первые послевоенные годы, если не ошибаюсь, чело-
века три, не больше, не считая Авало, имели персональ-
ные машины.

— Авало Кинцурашвили едет! — кричали ребятиш-
ки при появлении черного «эмадина», и неважно было,
сидел в нем этот Авало Кинцурашвили или нет.

Однажды детишки с нашей улицы (не знаю, кто их
подговорил) протянули поперек мостовой проволоку
специально для того, чтобы проезжавшие машины на-
тыкались на нее; и, как назло, глядь — едет кинцу-
рашвилевский «эмадин». Выскочил шофер и с криком:
«Вы что, погубить меня хотите, да? Я вам сейчас за-
дам!..» — погнался за ребятишками. Все успели разбе-
жаться, кроме моего брата. Шофер поймал его, стал
бить, пинал ногами, а Авало, оказывается, в это время
насупившись сидел в машине, безучастно наблюдая всю
сцену.

Моя мама в гневе грозилась как следует разделатъ-
ся с Авало Кинцурашвили. Если, говорит, не попаду к
нему в кабинет, в машине его достану, увидит, что я
с ним сделаю, — кричала она.

Перепуганные соседи увещевали ее, уговаривали
замолчать, даже в мыслях говорят, не допускай ниче-
го подобного, не то, мол, сошлют не только в Сибирь,
а еще дальше.

Досада и боль переполняли и меня. Я все думал и
никак не мог придумать, как, каким образом отплатить
этому Авало, троюродному брату и приятелю моего
отца... Множество фантастических планов зрело в голо-
ве, и чувство бессилия мучило и терзало меня.

Однажды к ногам моим подкатился вылетевший из школьного двора новенький мяч. При виде настоящего мяча у меня задрожали пальцы ног, которые ныли от постоянных ударов по каучуковому и матерчатому мячам. Я размахнулся и изо всех сил ударил по мячу ногой, чтобы загнать его обратно в школьный двор. Мяч почему-то полетел в противоположную сторону и ударился об открытую дверцу машины Авало Кинцурашвили. Лучше бы меня гром разразил!

Бог свидетель, я сделал это не нарочно. Во-первых, я и не заметил машину, во-вторых, при всем своем желании, специально я не сумел бы с этого расстояния попасть в дверцу. Я оцепенел от ужаса. От бывшего желания отомстить не осталось и следа. Я весь съезжился и обмяк. О себе я уже не думал. Из-за меня могли пострадать и другие, пришлось бы отвечать родственникам — близким, дальним, сестре, брату, матери, отцу, который находился на фронте. Когда Авало, сощурившись, уставился на меня, я вдруг подумал, что все это происходит во сне. Может быть, я просто сплю и мне сон такой снится, — пронеслось в голове. И если бы не пыльный след мяча на черной блестящей поверхности дверцы машины, я бы надолго ухватился за эту версию.

Авало какое-то время смотрел на меня (узнал или нет, трудно сказать) и, наконец, принял единственно правильное решение: он сделал вид, будто ничего не произошло, ленивым движением приподнял воротник шинели, сел в машину и стал дожидаться шофера.

Так все и обошлось, но очень скоро после того дня у Авало дела пошли из рук вон плохо. Его понизили в должности, потом снова понизили, и еще раз понизили, и, наконец, арестовали. Отбыв срок наказания, он вернулся. Ему дали работу — он стал помощником администратора на стадионе.

С каких бы дверей ни входил я на стадион, неизменно натыкался на Авало. «Ну как у вас дела, все ли здоровы дома?» — приветливо интересовался он. Или: «Ты по-прежнему работаешь в Тбилиси?.. Зачем тебе билет? Разве я не впустил бы тебя так!..»

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

С Переле же я повстречался в позапрошлом году в поезде Тбилиси—Кутаиси. Он вместе с какой-то женщиной оказались в одном купе со мной. В поблекшем облысевшем человеке я без труда узнал Мишико Перадзе, но спутница его, которую я поначалу принял за старшую сестру Перадзе, была мне незнакома. Эта худенькая, довольно симпатичная женщина оказалась супругой Переле.

Мы не стали вспоминать наше детство.

— Как дома?

— Хорошо.

— А ты как?

— Да так, ничего...

Наступило неловкое молчание. Переле мямлил сигарету длинными тонкими пальцами, не произнося ни слова. Как только мы проехали Ципский тоннель, он наклонился ко мне и очень тихо спросил:

— Как ты думаешь, сколько еще тоннелей до Кутаиси? — при этом на лице его появилась прежняя плутовская улыбка.

После Ципа было еще несколько небольших тоннелей, но сколько, я никак не мог припомнить.

— На этой дороге тоннелей больше нет!.. — категорично заявила супруга Переле, которая до этого времени отчужденно сидела у окна.

Переле подмигнул мне и вдруг погрузился.

Продолжение следует

ВКУС

НЕ сестра, не дочь, не мать... Больше родственники, чем они, чужой человек. Наглаватое, напрасное смущение: знают друг друга, не хотят знать. Сейчас разбегутся, разъедутся. Лишнее... Что лишнее? Все, что было после, — лишнее. А сейчас лишние эти пять минут до отхода, фальшивый перрон. Перрон всегда фальшивит. Ждет тебя дорога... Жжет. Самые страстные разлуки, самые горькие расставания — все равно ему каждый раз хотелось: скорей бы... Скорей бы тронулся, скорей бы перестать прикипать друг к другу на людях, что можно выжать еще из этой минуты? после ночи, после дня, после чемодана, после стирки носков и трусов и яблока в дорожку, после раздумья о последнем разе, неудобная поза, в передней, что ли... нет, кажется, обошлись, чтобы потом остался этот недоеденный торт... Интересно, вот в те подлинные минуты это чувство фальши — как? — взаимно? — или только у него, бесчувственно... Ничего себе, бесчувственного — локти грыз... Но — всегда, всег-

Завершающий рассказ цикла повестей и рассказов «Роль (роман-пунктир)», «Дверь», «Сад», «Образ (Третий рассказ)», «Лес (Улетающий Монахов)», опубликованного в журнале «Звезда» (№ 8 за 1976 г.) и в книге «Дни человека» («Молодая гвардия», 1976).

да хотелось, чтобы все провалилось скорее под колеса, с глаз долой — в самое сердце. А сейчас — не хочется. Все равно, не нужно, нечего сказать, да и писаний никаких... а не хочется. Все-таки жалко. Мнутся. Смущение. Не то чтобы сдерживается, а лень сказать: предел. Какое-то непонятное пространство ее, для него несуществующей жизни между ними, будто ровное поле с желтыми цветами... Вот-вот, будто она сейчас ему снится, как снятся мертвые, которые давно уже не живут, не в курсе... А подумать, что после них было?.. Так, пустое, двух слов не хватит, десяти — много, отмахнемся, промолчим... Какая-то комфортабельная неловкость. Чуть-еле-еле — кокетство: не слишком, потому что не помолодела же за десять лет, не похорошела, а все-таки — смотри, то же лицо, улыбка отчасти, неоконченность жеста... Неокончателность — как кошмарная неокончателность вся эта жизнь! Выраженная вот в этой корзинке, которую передать... Бог знает, с какой ерундою! Так ли она уж нужна — мне, ей, тому, кому передать, самой себе она даже не нужна. А уж мы друг другу — ни с какого боку! Вспомнил: сбоку... Еще и потому полкокетства: что — просто

О РАССКАЗЕ «ВКУС» И О РОМАНЕ «УЛЕТАЮЩИЙ МОНАХОВ»

Это небольшое произведение создавалось почти двадцать лет. Это, конечно, не значит, что все двадцать лет автор упорно переписывал строчку за строчкой и страницу за страницей, создавая вариант за вариантом. Я видел эти черновики — они написаны прямо на машинку, на странице поправлены два-три слова. Просто это произведение жило вместе с автором, никогда не покидая его. Параллельно создавались и доходили до читателя другие книги, эта — оставалась спутником. Пять раз обернулась она вокруг автора, возвращаясь как бы на прежнее место орбиты, различаясь лишь качеством. Форма ее и традиционна и небывала. Роман «Улетающий Монахов» состоит из пяти глав-новелл, написанных как бы самостоятельно друг от друга, в жанре, развивающем классическую русскую традицию рассказа и повести. Вместе они составляют гораздо большее, уже романное единство, единство, принципиально отличное от традиционного «цикла». Автор сам обозначает это новое качество, определив в под-

так, не нужно, не по делу... Разозлился, удивился вялой складочке ревности, шевельнувшейся, однако, под десятилетней толщей. Ну, уже пора!.. Представил себе ее возвращение будто бы в избушку за желтым полем, то же, что сейчас, пронесенное назад через поле лицо, такое же половинчатое, уклончивое, никому адресованное, и не ему, и не тому... Сон, смерть. Поцелуются или не поцелуются? Поцеловались. Чмокнули воздух над плечом. Щека слабенькая, мягонькая, скоро бабушкина... Значит, помнит ту щеку. По сравнению... Уже из вагона: последнее лицо, вдруг что-то в ней пробудилось, дрогнуло, или — показалось? или женщина все-таки, ничего не может просто так? или... да ну! дура! шляпу какую надела!.. стоит кулем... ну, что за баба, прости, господи! С трудом не заплакал. И когда отнесло ее наконец, не надо было наклоняться в окно с благосклонно-нежно-равнодушно-соблазнительно-независимо-тепло-человечно-мужской улыбкой... Уф! совсем другой человек выпрямился в проходе, отыскивая кресло: освободившийся, стройно-высокий, неординарный... Странно, ведь уже десять лет свободен — от чего же он освободился сейчас? не только

заголовке жанр как «роман-пунктир». В романе нет сквозного сюжета, есть лишь сквозная тема, тема первой любви (причем сама героиня этой первой любви исчезает из действия уже в середине романа), но несмотря на отсутствие сквозной интриги — это именно роман, потому что в нем действует герой, который встречается лишь в романе (и именно в классическом русском психологическом романе). — герой, развивающийся и меняющийся во времени повествования. «Дверь», «Сад», «Образ», «Лес» и, наконец, «Вкус»... Мальчик, Алексей, Алексей Монахов, Монахов... Безымянный герой последовательно обретает сначала имя, потом фамилию, потом утрачивает имя... Мы прослеживаем его на протяжении двадцати пяти лет, между главами «проваливаются» десятилетия. Автор как бы берет «пробы» героя во времени, как берут пробы вещества для лабораторного анализа. Анализ его беспощаден и точен.

О первых четырех главах романа-пунктира написана обширная критическая литература. Каждую из глав рассматривали отдельно как образцы в жанре рассказа и повести 60-х («Дверь»,

от неловкости на перроне? Вот именно, что не только...
Монахов продвигался по проходу, полуизвиняясь, никого не задевая... поднял глаза — с того конца вагона, навстречу шла она!.. Монахов даже произвольно покосился в окно, за которым она только что оставалась: там уже не было перрона, разбегались стрелки, рыжий бурьян... Монахов тут же, естественно, усмехнулся своему неоправданному движению — вперился в девушку, идущую по проходу навстречу: никаких сомнений — она! Чуть ли не проделал следующее неоправданное движение, чуть ли не потер глаза и встряхнул голову. Открыл — она.

Она была одета в то же платье, только шляпу сняла... Те же волосы, та же прическа, то же скромное движение как бы под взглядами, вызывающая скромница... Будто десяти лет не прошло... Монахов расправился весь ей навстречу. Ведь она сейчас тоже не может его не увидеть! Поднимет глаза... Время с жужжанием прокрутило в секунду три с половиной тысячи оборотов и замерло, зависнув, и Монахов ровно над той же пропастью: он точно так сейчас видел свою жену, как тогда, уже ему не принадлежащую. Стеснило сердце.

«Сад»), а затем и 70-х годов («Образ», «Лес»). Впервые попытка объединить главы в едином издании была сделана в 1976 году в книге «Дни человека». Но последней главы — рассказа «Вкус» — в ней еще не было. О чем «Вкус» и о чем весь роман? Об этом, надо полагать, еще будет много написано. Парадоксально, но у отдельных глав романа давно определился и читатель, и критик, и преданный поклонник, они вошли в антологии и переведены на многие языки, а у романа — все еще не было читателя: тот, кто читал в свое время главы как отдельные произведения, с трудом объединит их для себя в единое целое... Читатель этого романа, скорее всего, тот, кто прочтет его впервые, — современный молодой человек. Он будет читать о любви своего отца и узнавать в ней свою. Итак, этот роман о любви. Причем о первой любви, а точнее — о единственной любви Алексея Монахова, которую он забыл, которую он пропустил, о которой он вспомнил слишком поздно. «Камерность» этого романа кажущаяся: он раскрыт во времени, в истории поколения, — отсюда, наверно, та потрясаю-

Она была ровно на десять лет моложе той, провалившейся только что вместе с перроном. То чувство, что эти десять лет, хоть и без большого сожаления, без траура, но — зря, сейчас подтвердилось во плоти: этих десяти лет не было, и она — куда она ехала? к кому? почему он ничего не знал об этом?... — села в поезд, легкая и свободная, не зная о коварном стечении, при котором Монахов очутился в том же вагоне... «Вовсе тебя не преследую!..» — уже заготовлял реплику Монахов. Одно соображение, еще не проявившееся, смутило сознание, изображение стало рваться, треснуло, подернулось рябью... Монахов с усилием извлек его, упирающееся, из какой-то извилины: ТА, десять лет назад, не могла быть так одета, — никаких тогда еще макси, каблуки были не такие, прическу такую не носили, десять лет назад пассажиры были одеты иначе... Сходство ведь тем и усугублялось, что старая его жена, померещившаяся на перроне, и молодая, идущая навстречу, были одинаково одеты. И это было единственное условие узнавания — появиись она сейчас, одетая как тогда, как ей положено десять лет назад, раз она на них снова моложе, то, может, и не узнал бы,

шая узнаваемость, объединяющая в опыте любви любые поколения. Как бы ни был далек от читателя герой романа, как бы мы его ни осуждали, каждый увидит в нем хотя бы частицу себя, если не всего себя.

Роман этот завершен горьким и беспощадным приговором герою, растратившему сокровища своей души, утратившему способность любить. Но беспощадный этот финал, разоблачающий не только пустоту, но и трагедию эгоизма и индивидуализма, есть единственный возможный свет (катарсис) в безнадежном душевном тупике Монахова: человек, дошедший в своей ошибке до конца, сполна испытавший возмездие, способен к возрождению, ибо снова вливается, разоренный и растерянный, в общий мир, в общую жизнь человечества, которая непрерывна и не может иметь конца.

прошел мимо... Изображение окончательно раскололось и рассыпалось. Она подняла глаза и не узнала. Все было так, взгляд — совершенно другого человека. Тускловат.

Монахов уселся, думая о поразительном сходстве. Забыв неприятный взгляд, он снова был поражен. Надо было ее ненароком спросить о чем-то — голос услышать... Голос такая вещь!.. думал Монахов. За окном все еще был Ленинград, даже Обводный не переехали. Впереди шесть часов преутомительной езды. Может, познакомиться все-таки... А не стоит. Не стоит. Все-таки потрясающее сходство! А главное, какое совпадение!.. Замуж так и не вышла... Монахов думал о своей первой жене, что она единственная. И куда десять лет делись, он тоже думал. Ничего нового не оказывалось в том, что он подумал. Вот об этом он и задумался. Странная мысль! И ее не было. Вот про эти десять лет, что раньше все было непрерывно, а потом провалилось... что только единственное — длится, а остальное — только исчезает. Что за все первое отвечает сама природа, за все второе — сам человек. А он не отвечает. А там уж пятое-девятое... Мелькает. Вот попробуй запомни: что там за окном?.. Этот лужок, проселок, перелесок — ведь неповторимы же, а? Ведь можно любить их больше жизни... Они могут родиной быть! Ан нет, — сколько себя не заставляй — пронеслось, исчезло... Любил ли он? любили ли его? можно ли было не менять жизнь или ее следовало менять еще раньше и еще круче? да и менял ли он ее или она менялась? выбрал ли он хоть что-либо или только его выбирали? и не кажется ли ему, что раньше он жил и чувствовал как-нибудь иначе?

Монахов думал, и ничто не оказывалось мыслью. И не то чтобы он уже подобное слышал или читал, или сам говорил, или уже думал, — нет, никакой сторонней узнаваемости в этих мыслях не было — они были и впрямь его и теперешние, сейчасшие... и однако стирались, как пейзаж за окном. И приходили в голову словно впервые, а все были уже подуманные какие-то. Значит, тысячу раз проносилась в его голове уже эта толпа, и мысли примелькались, как сослуживцы, каждый день встречаемые, ни разу не отмечаемые... И еще хуже, подуманные кем-то. Что это у тебя сегодня,



Сидоров, вроде как ноги нет? что ты говоришь!.. не знал, не знал... Так и мысль свою вдруг он увидел, что она без головы... Вот же она! опять уткла. И он словно провожал взглядом ее отвратительно примелькавшуюся спину. Вот, когда прервалось... (и опять он не сказал себе, ни что прервалось, ни когда...) вот с тех пор и ни разу не была додумана ни одна мысль, а только лишь возникала. Возникала и возникала, и вот он ее уже узнает, ни разу не подуманную. Узнает, как случайного прохожего в толпе, как попутчика в трамвае, но прохожий пройдет и попутчик сойдет... До следующего раза. Вот что значит «ничего нового!» догадался Монахов. Это вовсе не значит, что оно уже было, а значит, что его уже никогда не будет для тебя. «Все что было, все что мило...» То давным-давно уплыло! А вот эта тыщу раз всеми и им слышанная, вдруг мурлыкнувшая в нем строчка все еще была. Жила. Да что в ней такого? что в ней выражено-то! возмущился Монахов. Чувство, ответил он себе. И вздохнул с облегчением.

Об отсутствии, о пустоте... О смерти! Никогда не равна себе эта мысль... И ее уже не было.

Был вкус во рту. Этот ужасно длинный вкус пирожка в вокзальном буфете. Вот он был, он расширялся и рос, отвратительно настойчиво и ровно. Стойко. Ага, стойкий вкус! и это отмечено в «правдивом и свободном»... Вкус помещался во рту, как объем, четко фиксируя полость этого пустого храма. Он все был и был, не в пример мысли или пейзажу за окном, все время улепетывающим. Чего бегут, куда бегут? — и опять то же: и мысль и перелесок. Ну, запомни же вот этот хоть бочажок с корягой... Не-ет! дудки. Их нет, как и не было до. А вкус есть, сколько его ни сглатывай.

Монахов в сердцах отвернулся от окна посмотреть на пассажирку. На самом деле он так же давно собирался на нее посмотреть, как и встать, пройти в тамбур и покурить, как, быть может, прополоскать там заодно горло... Пассажирка смотрела в окно с особо отрешенным и независимым видом. Шлюха! вспылит Монахов. Чего у них такой независимый вид, как раз

у шлюх? С такой недоступностью на лице только в очереди к венерологу сидят...

В тамбуре, пуская дым в окошко, Монахов на некоторое время обрел пространство: мусорный ящик, огнетушитель, декларация какая-то под стеклом, дверь в туалет, плевков — все на месте. Давно пора было закурить... подчеркнуто выпустил дым — отлегло. Что это все на него находит? Благожелательно приласкал взглядом огнетушитель: на месте, друг! не действуешь?.. И то, что на огнетушителе была картинка, на которой человек, успев переодеться в комбинезон, правильно держал в руках такой огнетушитель, на котором, в свою очередь, была картинка, на которой... это, с детства, запавшее представление, тут же тысячу раз проигранное в мозгу, не было почему-то ему противно, наоборот: усмехнулся себе ласково, будто подмигнул прошлому. Как в прошлом, улетала, вернее, отлетала от окна, как взмах крыла, черная линза пашни — рывком назад, потом, будто отлетев вбок и описав дугу, возвращалась на место, прежде чем плавно исчезнуть насовсем. Это крылатое пульсирование пейзажа за окном с вспархивающими, в свою очередь, с борозд грачами, имитирующими поворот пейзажа, взлетающими, чтобы вновь и вновь сесть на то же место, будто, пока они взлетали, земля успевала проехать под ними... Ага! запомнил!.. возликовал Монахов. Крыло опало. Справедливо, подумал Монахов и не расстроился: нельзя ловить кайф над кайфом.

Дети теперь не машут вслед проходящим поездам... Когда это случилось? Сколько же времени должно было уйти, в том числе его собственного, чтобы стайки их становились все реже, чтобы не все в стайке махали, чтобы стало неловко помахать, раз другие не машут...

Грачей больше не было, зато открывшийся за пашней синенький, как дымок, лес — показывал вечный и радостный с детства фокус: он все забегал вперед поезда, пока насыпь с белеными камушками и столбиками рвалась серыми клочьями назад, а между забегавшим вперед леском и прерывисто отлетавшей под колеса насыпью — все замирала, все останавливалась неподвижная точка, обозначалась ось, словно там и колышек был вбит для вращения поля зрения

вокруг него. Вот он, мгновенный центр вращения! — математическая абстракция оживала с наглядностью школьного опыта. «Сейчас она выйдет», — вдруг решил он.

Дверь в тамбур отворилась, он упорно не отворачивался от окна.

Сейчас попросит закурить...

И, о чудо, девочка на насыпи, как когда они еще махали... точно такая, в платочке в горошек, с коленками... стояла и махала, как призрак.

Этого только не хватало, чтобы двойника (двойницу...) звали так же, чтобы она еще и тезкой была... Конечно, звали ее уже иначе, как и одета она была уже иначе, звали ее, скорее всего, Света.

Монахов все отгадал, и как зовут, и где учится... Она ехала сдавать последнюю сессию, в общежитие дозвониться трудно, из комнат у них не зовут, но она может выйти в назначенный час к телефону. Монахов не скрыл, что женат, но то, как он отвел и удлинил взгляд, хорошо передавало разлад, о котором не хочется говорить... Света была хорошая, простая, умная девочка, которую Монахов не хотел бы обмануть...

Сигарету он галантнейшим образом ей выдал — но представление о том, что ему известен каждый шаг, обескуражило его, и он не завязал разговора.

И реанимированный было пейзаж вновь умер. Кстати стемнело, чтобы не видеть его. Чтобы не думать больше, как ты его не видишь. А думать о том, с чем же в себе никак не может он смириться, Монахов, чему удивляется? К какой такой давней уже перемене никак не может привыкнуть? и даже допустить не хочет. И эти — были стертые, кем-то, не то им же, подуманные... Возраст! Неужто он так простирает над ним свое крыло? Может, Монахов никак не может свыкнуться, что ему не двадцать пять. А почему, собственно? Он не чувствует ни боли, ни одышки, он — выглядит, он не постарел. Никто из нас не заподозрит, насколько долго, даже усвоив современные взгляды, подвержены мы давно уцененной и забытой, еще школьной идеологии. Откуда, например, убеждение, что старение есть явление как бы чисто физическое?

Андрей Битов. Вкус.

Возраст! думал Монахов. Вот великий закон над человеком!.. Монахов не мог допустить его действие на себя, в то время как действие его на окружающих было объективно. Распространение этого закона на себя означало, что жизнь, собственно, прожита и никак не впереди. Тогда он ее прожил то ли не так, то ли мимо, то ли не в том смысле. Перспектива, всегда открытая, вдруг захлопывалась. Господи! не готов... С другой стороны, не хуже, чем у других, это у него было: мать жива, дети здоровы, жены несчастны, но тоже здоровы, и все у них есть... а когда они были бы счастливы, интересно знать! Монахов привычно вспыл. Если причина его неважного самоощущения лишь в том, что он им не дал счастья по их представлениям о себе — то это вздор, этим — пренебречь. И хотя все равно не пренебрегалось, что-то оставалось на совести досадное, навязанное ими, но это, ясно, не главное. В том-то и дело, что Монахов именно сам себя неважно ощущал, а не с помощью других, и — вот ведь! — тьфу-тьфу — даже здоровье было. Что же это за боль в виде ее отсутствия! несносно. Неужели все кончено?.. Что — кончено?! Что — все!? Неужто так и не ответить себе ни на один вопрос... Вопросы размножаются простым делением. Откуда он взял, откуда они все взяли — жены, дети — что она все время и каждую секунду должна происходить, жизнь? И еще, не просто сама по себе, а по нашим о ней представлениям! Хулить общественную систему — и во всем настолько походить на нее... Нет, она наша, эта система, и твоя тоже. Давай, давай! — немудрено было давно уже ее всю выгрести, жизнь. Чего же теперь бесчувствию дивиться? Как там наша Светочка поживает?..

Обиделась. Не смотрит. Ну и слава богу. А жизнь, товарищ Монахов, придется наново начинать. Ту уже не переживешь — хвостик хоть ее распрями. Чтобы не было мучительно больно... Ой, больно! Да дался ты кому со своей виной и долгом! Что ты лезешь из кожи к удивлению и неуважению своих близких? Кому ты нужен со своими смирениями и жертвами! Ты сам им нужен, а где ты сам? В какую щель... не видать... Что ты прешь эту жизнь, как рояль на седьмой этаж! Не-ет, хватит.

Господи! может ли прийти в голову мысль, хоть одна, которой я еще не думал. Я ими всеми уже ду- мал...

Светочка спала, расстегнув рот. Монахов представил, что это она уже под утро... Чужая подушка... бедненькие тряпочки кое-как разбросаны по полу... птицы заверещали, рассветает окно... и она, после всей этой бури, плотно спит, вот и рот нараспашку... Монахов покосился с неприязнью и крадучись, стараясь не разбудить, соскользнул с кровати, босой по чужому полу, в руке туфли, где, черт, второй носок?.. Монахов хотел выйти, но пол под ним шатало... Поезд грохотал в ночи, все разухабистей болтаясь по стрелкам, словно не разбирая уже пути... Нет, хорошо, что не затеял знакомства... Монахов и сам дремал, некоторое время стараясь не забывать про рот, учитывая чужой опыт... пока не уснул, со всей непосредственностью сна.

...Ничего страшного. Вот предмет, похожий на другой предмет... а вот два похожих человека... И этот похожий предмет служит своему назначению, как служит своему назначению предмет, на него похожий. И этот человек, похожий на того, живет своей жизнью, как и человек, на него похожий, живет своей. Что такого?

Сходство или похожесть никогда особо не занимали Монахова, и уж во всяком случае ничего пугающего в подобном явлении он до сих пор не обнаруживал. Эта область легко исчерпывалась проходным рассуждением о том, что при бесчисленном многообразии сочетаний элементов сами элементы-то постоянны, и потому, по законам больших чисел, вполне возможен случай даже и значительного сходства в соединении элементов у каких-либо предметов, людей, явлений, совсем не родственных и весьма отдаленных друг от друга. «Отдаленное сходство», в таком случае, скорее сходство двух далеких объектов, чем просто незначительное подобие. А при бесконечном ряде возможен и случай идентичности — ну что ж, курьез, игра природы... как та же игра природы, что волей того же случая мы можем стать свидетелями подобного

курьеза. Свидетелями и только. Ответственности не несем. Ни в малой степени не должно омрачить нашу душу отдаленное сходство. Скорее можно утверждать, что всякого рода сходство или похожесть должны радовать любого нормального, не задумывающегося над пустотой человека («Мне бы ваши заботы...» — разумный довод!) Радует же всякому сходству ребенок как первому методу познания, и нежные усики первых соображений протягиваются из неизмеренного еще «я» к пока еще измеримому миру... может радоваться и взрослый, видя в явлениях сходства некое свое приобщение к окружающему миру, сродство и даже сращенность с ним.

Теперь можно употребить удивительное слово «вдруг».

И вдруг Монахов испугался. Так потрясло его это вагонное сходство... Это и есть оправдание той ложноножки, которую выдвинул с самого начала наш рассказ. Хотя в широком смысле, конечно, не «вдруг». К этому «вдруг» его долго и терпеливо вела непостижимая жизнь. Будто из тугого и, казалось, толстенного клубка отмотал он, начиная с рождения, нить настолько длинную, что уже клубка-то и не различал: сколько там? не вся ли нить?.. Так вот, ему вдруг показалось, что она как-то опасно натянулась: заело или кончается? Вопрос тревожный, и задать его некому. Мы не придаем случайной встрече в вагоне того же многозначения, как Монахов; может, он и сходство-то преувеличил... но, между прочим, не нам судить — это его встреча, не наша. Он принял ее за точку отсчета, пусть как угодно произвольно. Точка эта означала, что жизнь его описала круг. Теоретическая спираль его не утешала. Ему некуда было ее вставить. Под вопросом для него было лишь количество описанных им кругов — не третий ли заход?.. Третий, малоутешительный...

Во всяком случае, именно в этой точке своей смелькавшейся уже в полосу жизни приостанавливается Монахов, чтобы оглядеться. Это и есть оправдание той ложноножки, которую выдвинул с самого начала наш рассказ, который мы назовем то ли «Тени», то ли «Отрывок», то ли «Венок», то ли, как мы смело написали вначале, — «Вкус», то ли «Отдаленное сходст-

во». Перед тем как он выдвинет — следующую, воз-
можно, опять ложную...



Он приехал, и они объяснились.

Новую жизнь, однако, Монахову удалось начать не сразу.

Прошло время, прежде чем странность и радикальность подобного намерения поутряслась, пообсела в сознании ближних (жены) и приняла законный и привычный вид: Монахов берет очередной отпуск и, возможно, еще месяц за свой счет, но проводит их не с семьей, а снимает за городом комнату, где ему наконец никто не мешает обобщить его опыт. (Якобы очередная монография, «Висячие сетчатые конструкции»...) Но вряд ли все это можно было теперь назвать побегом или «вита нуова». Толстой... оскалившись по-волчьи, сказал себе Монахов. Однако был он к себе несправедлив: не будь он непреклонен в своем решении, не убедись жена в неизбежности, не привыкни начальство к идее... вряд ли бы он жил теперь на даче, вырванный из «заботы суетного света», с перспективой жить так два месяца... Достижение — практически невероятное!

Он говорил: «Я живу напротив могилы поэта», — и странно звучало это «живу».

Он произносил эту фразу впервые и не был уверен, что не повторяет ее в сотый раз. Кратность преследовала его. Кратность мыслей, слов, встреч. Все это нуждалось в сокращении, как кратная дробь. Ему пора было уехать. Одиночество было ему необходимо. Но до тех пор, пока его надо было добиться, это была еще цель. Он внес вещи в комнату, разложил на столе чистую бумагу и словари, вскипятил чай... И за кратким детским удовольствием самостоятельного устройства с тоскою понял, что никакого одиночества нет.

Хозяйка... Но не в хозяйке дело. Это однодневная лихорадка, ею не сложно переболеть. Как спускать воду, как зажигать газ... это пройдет. Что-то другое не устраивало Монахова в этом прославленном месте. Непонятно что. То ли оно оказалось не таким, как он

ожидал... но это тоже явление сверхобычное: место значения всегда такое — не такое, как представлял, тем и замечательно. То ли вообще его не было. Монахов вглядывал в окно, и ему становилось пусто. Не то чтобы его вообще не было: сосны, кустики, дорожки, сараюшки — всего этого было в достаточном количестве. Некоторая частность, неоформленность пейзажа, общая мусорность — так это и есть специфика именно дачного места, за пейзажем ездят подальше, уже в деревню. Так ведь эту-то сутолоку и сорность тоже можно любить, Монахов как раз и любил, он знал и узнавал отличие это. И, тем не менее, этой местности как бы не было, то есть, точнее, она уже была. Была когда-то. Не так давно кончилась... Монахов приехал и уже ее не застал. Не было местности.

Как мысли раздражали его своею уже «подуманностью», а люди — своею уже «встреченностью», как вся жизнь — своею «траченностью», так, возможно, и местность эта. Именно траченное место, будто битое молью (хорошо представить себе подобное насекомое, питающееся пейзажем...). Но был здесь и еще оттенок. Если ощущение кратности, бывшести, повторности, владевшее им в отношении людей, мыслей и чувств, было его личным ощущением, им почувствованным, им же и обеспеченным (в смысле нажитым), то есть несшим в себе оттенок заслуженности и справедливости (возмездие за неправедно прожитую...), то в пейзаже этом, в его неудовлетворительности, он если и был виноват, то лишь отчасти, причем несущественной части. Кто-то употребил, выпил эту природу, так что Монахову она уже не досталась.

Монахову не хотелось смотреть в окно. Сосна как сосна: кора, хвоя... но и она не жила той спокойной, уверенной жизнью дерева, к которой привык Монахов у себя на севере — она как будто достаивала сосною, а уже была в душе доскою, валежиной; по ней пробежала бывшая белочка с мертвым мехом, оживший обрывок тетушкиной муфты. Вид из окна был испит, в лице его не было ни кровинки, а Монахову предстояло два месяца вглядываться в него, черпая жизнь и равновесие. Планы! представления!..

Кто же это высмотрел дотла?.. — неприязненно посматривал по сторонам Монахов. Он именно сколь-

зил взглядом, чтобы не запорошить глаза пеплом, который мог посыпаться от неосторожного взгляда этой видимости леска, пригорка, пашни... Не иначе как живший здесь поэт. Незадолго до Монахова. Пейзаж достаивал после его смерти в глазах оставшихся, не более того. Именно так и объяснил себе Монахов глухое недовольство, ворочавшееся в нем и не находившее формулы. Наждачность поэтического взгляда, содравшего пыльцу с невзрачных крылышек окрестностей, преследовала его воображение, хотя сами-то стихи поэта Монахов знал слабо, а теперь почти мстительно собрался достать прочесть, чтобы убедиться в том, стоили ли они того, чтобы ликвидировать небольшую местность... Припоминал фотографию: в ватнике, кепаре и кирзовых сапогах, опираясь на мотыгу (из-за которой он и запомнил фотографию), более похожий на могильщика из «Гамлета», чем на его переводчика, вглядывается перед собой, по-видимому, в тот пейзаж, остатками которого так и не довольствуется Монахов.

Да, эта местность уже была. Монахов не собирался ее описывать, однако и ему ее не хватало.

Люди, мысли, чувства, и вот теперь местность — все это уже было. Неужели и я — уже был? — вот был вопрос, к осознанию которого не хотел приближаться Монахов. А тут еще и местность, между ним и вопросом, кто-то чужой, до него живший, взял и убрал, скатал, как собственный коврик...

— Я живу напротив могилы... — повторял Монахов, нажимая на «живу». Так никто и не отметил в этой фразе каламбура, пусть и неудачного. Улыбались, будто пожимали плечами.

— Поселок дачного типа, — вдруг сказал он.

«Зона отдыха трудящихся Одинцовского района», — красовалось на платформе. «Косою полосой шафрановой — от занавески до дивана...» — Монахов усмехался. Чтобы отделаться от этой странной неудовлетворенности местностью, он расширил свое шапочное знакомство с поэзией. Стихи, в чем он вслух не смел признаться, все-таки не нравились ему. Их уси-

лие быть казалось ему чрезмерным. Что ж поделаться, если не Михайловское... так уж надо и душу вытрясти из бедненького пейзажа... Хотя, странным образом, именно стихи, написанные здесь, нравились Монахову все-таки больше.

Одна лишь церковь на пригорке горела с тою же силою, что и в стихах: «как печатный пряник». Радовала глаз. Из-под нее, вниз по склону, вплоть до речки, спадало кладбище, на котором и был похоронен поэт. На могилу, предмет обязательного паломничества каждого прибывшего интеллигента, Монахов решил не ходить. То ли не хотел уподобиться, то ли не причислял себя в этом смысле к интеллигенции, то ли всех остальных к ней не причислял, то ли считал более оригинальным «жить напротив», чем и ограничиваться, то ли кладбищ не любил... побуждение это не было достаточно ясным. Возможно, опасался «рифмы».

Симптомы, синдромчики... «Рифма» была его собственным понятием, которое следует пояснить.

Где-то я это уже встречал, читал, слышал... Что-то мне это напоминает, не могу вспомнить что... Какое знакомое лицо!.. Мы с вами где-то встречались... Ах, я это вам уже говорил... Знаю, знаю, слышал... Все эти обыденные случайности, расхожие речевые обороты, ничего до сих пор не значившие, вдруг стали намекать Монахову на наличие в себе более затаенных смыслов, чем способен заподозрить нормальный человек. Что-то обязательно повторялось на дню из того, что до сих пор могло годами не происходить, будто копилось в этих годах, чтобы вывалиться вместе... Скажем, поймал себя за странным делом: набрел на запылившийся завал в ящике стола — фотографий, квитанций, записок... и вдруг начал стричь и клеить, искать совершенную композицию, пока к концу дня не был у него готов замысловатый коллаж, о жанре которого он и понятия не имел. Ни одна бумажка не пропала!.. Монахов застиг себя любующимся делом рук своих, смутился, спрятал поглубже, чтобы никто не увидел (жена). Вечером она (жена) вдруг просит его выстричь ей трафарет из иностранного журнала — и с насмешливым удивлением проводит Монахов остаток вечера, орудуя теми же ножницами и клеем («Как у тебя ловко получается!» — Монахов взглядывает

с опаской — да нет, не может же она видеть сквозь стены и ящики!.. «Я в детстве ловко выстригал...»). В том-то и соль, что до сего дня Монахов, и это он знал точно, ничего подобного не выстригал лет тридцать. Впервые отчетливо проступил для Монахова этот закон, когда он стал водить машину. Пробив себе привычные, стандартные маршруты, от которых его редко отклоняла жизнь, он знал уже с точностью, что если его вдруг забросит в угол города, в котором он никогда не бывал, по какому-либо поводу, тоже достаточно небывалому, — скажем, отвезти в ремонт пишущую машинку подруги жены, то это значит, что вечером того же дня он окажется в том же месте во второй раз в жизни, по поводу не более бывалому, сопровождая скорую, на которой увозят его внезапно заболевшего сына (ничего страшного, обошлось, слава богу...) в неведомую больницу, где есть место, так это место есть в больнице, что напротив мастерской по ремонту (надо же! а я тут утром уже был... и на больницу внимания не обратил). И так если и не каждый день, то через день. И больше он не выстригал, и больше он в этот район не попадал... И все объяснения подобных случайностей были Монахову известны, но скука уже сковывала язык рассуждать о вероятности. В том-то и дело, что не-вероятность! Вот он видел вчера дважды посреди улицы павшую лошадь — это сейчас, в Москве... когда и живую-то встретишь, вздрогнешь, а тут — одну видел утром в районе трех вокзалов, а другую вечером в районе Сокола (а что он там делал-то, у Сокола? не может вспомнить...), будто эту лошадь возили за ним по всему городу, чтобы он на нее натыкался. Нет, он совершенно нормален. Ничего ему никогда не кажется. Но только всего такого стало так много, что он уже не помнит ни одного примера (и упомянутых в том числе), а помнит, что проявляется каждый день некий закон и действует. И этот намек уже больше, чем намек; он — напоминание. Чего напоминание-то?! Того, что жизнь есть независимо от того, есть ли ты. И если ты, чтобы не ловить себя на отсутствии, перестаешь реагировать на жизнь вообще, она находит способ тебе напомнить,

что она есть, хотя бы вот такой рифмой. Хорошо, если не прямым ударом. Вот когда перестаешь замечать и такие вещи — пропал... жди удара... Монаховым Монахов не стал, не пытался объяснить вещи недоступные примитивно-логическими построениями, но — настораживался от подобных намеков бытия, и остаток дня проживал несколько более осторожно и чутко. Поизносившаяся ткань собственной жизни просвечивала для него в такие моменты своим лукавым смыслом, навсегда утаенным от логического должествования. Монахову хватало настораживаться, но не пытаться ухватиться за мелькнувший тайный смысл, чтобы окончательно не повредить ту ветхую ткань, сквозь которую он зиял. И конечно же, довольно часто Монахов замирал на полуслове, на полужесте, вдруг застигнув прозрачное это мгновение за пробуксовкой: оно уже было, не припомнить когда, но точно в такой вот точке времени и пространства, на том же полуслове, он уже бывал! он это точно помнил, он узнавал этот текущий миг, как уже бывший... Время делало полный оборот, попадая в ту же точку со случайно налипшим на его обод Монаховым. Означало ли это, что в нем самом оно кончилось, время?.. Или довольствоваться всеобщими (и его собственными) рассуждениями о безвременье?

В понятии «рифмы» времени, сформулированном для себя Монаховым, заключалось и то, что это было единственным способом, каким умудрялся теперь Монахов отметить жизнь как идущую, как живущую, как существующую помимо. Он не имел больше воспоминаний. Конечно, и он мог сказать: «А вот я помню...» — и повторить что-то затверженное, как чужое, будто и никогда с ним не бывшее (как он, бедненький, упал с крыльца и зашиб лобик... для убедительности указывал на шрамик во лбу и почти с изумлением его под пальцами обнаруживал: шрамик-то был... он был НА Монахове, но его не было у самого Монахова: так могла пристать к его пиджаку нитка), и скучно становилось ему от этой кражи чужих воспоминаний, потому что он их именно крал, и даже не у себя, когда-то что-то пережившего, а уже у следующего себя, это что-то пережитое когда-то помнившего. Нет, ему не исполнилось еще тридцать три... Нет, не тридцать четыре. По-

звольте, какой сейчас год? Еще не будущий?.. Тогда тысяча девятьсот семьдесят такой-то... минус тысяча девятьсот тридцать такой-то — как раз тридцать три. Но еще не исполнилось...

И опять, он абсолютно здоров. Никакого склероза. В уме перемножает трехзначные числа. Может, если надо, восстановить любой отрезок прожитой жизни с юридической точностью. Помнит все, без обрывов. если надо — вспомнит. Но ему НЕ надо. И он ничего не помнит. У него нет воспоминаний. Одни напоминания.

Рифмы. Топ-топ. Как-то даже смешно. Если что-то, то еще раз то же самое. Он не хочет сегодня второй раз встретить однокашника, которого как раз не видел к сегодняшнему дню двадцать лет. Так он его сегодня встретит. Если надумает сейчас махнуть в баню — так он там, и если решит, ни с того ни с сего, съездить в Ленинград, они поедут на одном поезде.

Поэтому-то он и не хотел идти на кладбище навещать могилу, чтобы не вызвать у судьбы повод тотчас попасть на него снова, уже более по делу. Не то чтобы точно так думает Монахов, это было бы уже состояние, близкое маниакальному, а он, мы повторяем, здоров, но вот нежелание и острастка — есть. И если бы его не затащили, он бы сам не пошел... Нагрязнула Светочка (та, похожая...), и он непременно должен был ей эту могилу показать; что он ее сам не видел, она не поверила, и обиделась, что он-то видел, а для нее не хочет и лишнего усилия сделать... Так его поход со Светочкой все равно стал «вторым» посещением кладбища, хотя бы и в чужом сознании. Искусственное непосещение не было зачтено ему судьбою.

Они брели между могилами, но не находили поэта. «Ты же был на ней! как же ты не запомнил...» Монахов уже не возражал. «Давай спросим...» Спросить Монахову было неловко. Это как бы следовало знать. Сейчас, разыскивая, он поневоле пристально вглядывался в каждую. Причем даже не без любопытства: давненько, слава богу, на кладбище не бывал, давненько не хоронил... Кладбище было отчасти привилегированное, некоторые могилы привлекали внимание.

Но и не приблизившись еще на достаточное расстояние, чтобы различить имя умершего, Монахов уже знал, что очередная заметная могила не может принадлежать поэту. Так и оказывалось. И они шли дальше. Монахов не размышлял над тем, что могила, которую они искали, должна отличаться, и почему, собственно... он был уверен, что она другая, чем все, уверен заранее, не задумываясь и не утруждая воображение. Остальные могилы были богаче и беднее, но они были одинаковы по отношению к безуспешно разыскиваемой. Чем должна была отличаться та могила — вопрос этот, будь он неладен, поставил бы Монахова в недоумение; тем более, что он не отличался преувеличенным отношением к поэту. Но, безусловно, не анализируя и не вдаваясь, само ожидание другой могилы означало отличие поэта от остальных смертных. Вот уж смертных!.. Трогало и забавляло Монахова усилие продлить жизнь в памятнике. Вот монумент, к которому в надежде убыстрил он было шаги... ближе стала видна безнадежность пропорции — опять не то. Зато мрамор и барельеф! клумба! скамеечка и тумбочка под замком... решетка... Много. Монахов разглядел барельеф — лица этой женщины тоже было много, оно ничего не выражало, кроме солидности и богатства, которые выражал и сам камень... На решетке еще и висел замок, тяжелый и прочный. Пышная могила, лицо пышной женщины — пышность и была выражена. Больше ничего не мог узнать Монахов, однако знал уже много. Эта мысль о сходстве покойника и памятника удивила Монахова. Правильно... замок... что же еще, какие еще мысли, кроме грабежа, разбудит эта могила?.. Монахов миновал ее, будто давно был знаком с усопшей, так отчетливо был возведен над ее гробом ее характер. Как живая... мысленно повторил он про себя вздох удовлетворенных родственников, прощально вглядываясь в барельеф: белый мрамор, много щеки, красная стела, статная, как возможный торс усопшей... Нет, до чего похожа! восхитился Монахов. И далее эта мысль о сходстве не покидала его. Вот еще одна могила «непоэта», хотя на ней даже вычеканена строка, напыщенная, из лысых слов, без подписи, видимо, принадлежавшая... И то, как к этой своей строке, возможно, относился автор, и то, как относи-

лись к автору близкие, именно ее выбравшие, чтобы сделать ему приятно... Опять выходил портрет. Монахов увлекся: образы покойных воскресали перед ним из памятников, несколько чересчур типические, все на характерных ролях, — они разыгрались на провинциальных подмостках его воображения как живые. Он их знакомил между собою... «Ты что смеешься?» — спросила Светочка.

— Представляешь, — сказал он. — Многие из них совсем бы не были рады своим надгробиям... Никогда бы не подумал, что любовь так разоблачительна.

— Я, конечно, не совсем понимаю тебя, — сказала Светочка. — Но что же тут смешного?

И впрямь. Монахов смутился. Попытался пояснить. Мол, ближние из любви, пытаюсь сделать покойному приятное, выставляют ненароком нечто самое характерное, может, тайное, невольно создавая образ: то ли человек слишком любил почет, то ли вкладывал душу в достаток, то ли питал тайную слабость к собственным литературным опытам... А они это его сокровенное — напоказ... Монахов еще побормотал, все слабее и неувереннее. «Мы уже тут были», — сказала Светочка. Они описали круг. «Ты права», — сказал он, вдруг разглядев Светочку и потрясшись ее бессмертием. Каждая клеточка ее была молода. Она уже сорвала с могилы цветок, устроив его за ухом. По особой иронии она была в белых тапочках.... Он погладил ее по щеке, как гладят яблоко или персик, не веря пальцам своим, что они такие. Она совсем не так его поняла и смутилась радостно. Бессмертная.

Она была так же кстати на кладбище, как кстати на нем цветы, кусты, птички.

Монахов никак не мог себя таким же образом уподобить, чувствуя себя на полпути от Светочки до могилы. С подземными жителями у него, пожалуй, нашлось бы побольше общих тем для разговора... И тут, уже сочтя сокровенную могилу заговоренной и сожалея, что не спросил-таки дороги сразу, и устав, пытаясь выбраться из очередного аппендикса, ввинтившись по свернувшейся улиткой тропке за рядок молоденьких, недорисованных берез, он опять зашел в

тупик и долго и тупо смотрел на серый камень, вздорный профиль, факсимиле... «Так вот же она!» — радостно воскликнула за плечом Светочка.

041135340
20230110333

Вот оно, одиночество!.. — воскликнул мысленно Монахов. — Когда человек не хочет больше видеть людей, так ведь он ничего против них не имеет — он себя не хочет видеть с ними рядом... Почему-то на этой могиле, наконец найдя, ему стало не того, в земле, — себя жалко. И так сильно! что ощутил он эту жалость почти как утраченное счастье, и окружающий мир вдруг подступил вплотную, подставляя глазу все живое, из чего состоял: то листок выворачивал ему свою бархатную насекомую изнанку, то травка перед ним выгнулась, то ветерок от шевельнувшейся в дреме ветки прикасался к его щеке, то тень от проشمгнувшего поверху облака прогулялась вокруг, заглянув во все освещенные уголки... и ни за что не хотелось бы уйти из этого мира! Ах, не готов. На секунду показалось Монахову, что мир опрокинут, хотя он и не задирал голову; что будто он лежит на спине, и вечно все это над ним — отведенная ему лужица мира... Ну, если так! — восхитился Монахов. Тогда бы еще можно... Чтобы «надо мной склонялся и шумел»... тогда можно. И не надо больше. Когда и столько — все. После смерти человеку достается мир дерева — не так мало. Он наконец укоренен. Мир приходит к нему, чтобы он на него посмотрел. Дерево не может увидеть столько, сколько человек, но сколько человек видел дерево, столько и оно его видело... Странное это соображение не позволяло Монахову переступить, ему казалось, что он никогда не сойдет с места. Очень бы хотелось... он слишком хорошо знал, что сойдет наконец, — опытная точка заходила с тыла. «Прочитай мне какое-нибудь его стихотворение», — шепотом попросила Светочка. О боже! взвыл про себя Монахов, совершенно про нее забывший. И уже переступил.

«После», — сказал он совершенно без гнева. Могила эта поражала бедностью. Какая вроде бы и пристала поэту... Но нет, не такая! Она была вполне на уровне здешних зажиточных могил, еще и с избыточным вкусом и интеллигентностью. Но какая все-таки бедность, в чем? У Монахова не было отчетливого образа для того ожидания, которое исподволь разгора-

лось в нем, пока он искал. Теперь, увиденный, этот образ был утерян навсегда: могила была такой, какой была. Воображение было разорено. Бедностью воображения она и поражала: ограды нет, загончик из жердей — вкус... камень светло-серый, как пыль, неполированный — достоинство... травка, газончик вместо клумбы — скромность... рядок тех самых березок — простота величия... продуманная сень — намек на лиру... Что можно еще придумать и чего избежать? Все. Если не посягать, то все. А если посягнуть, то и бедность покажется нищетою. Потому что памятник гению не может быть и памятником гения... Это хорошо. И этот — подобен. Правда, дистанция между ним и памятником как бы обратная и очевидная... И все-таки. Не этот ли профиль на сером камне заставлял его, еще живого, застывать на последних фотографиях столь благородно и чеканно? не этот ли жердяной заборчик, демонстрирующий строгость вкуса, порожден его гением, слабым в ближних? речка текла внизу так же, как и до него, и независимо от него, разве еще оскудев и измельчав.

Каждый заслужил свое надгробие.

Справедливость подобного заключения венчала толкотню секунд в смуте и суете прижизненного времени. Справедливость и есть единственная мера времени с единицей в одну человеческую жизнь.

Пора было идти. Оставалось подумать о любви к себе после смерти. Головокружительно и невозможно. Мама пьет чай, открывая еще прижизненную банку варенья, жена перешивает юбку, сын заперся в ванной... Хлопоты сборов в дорогу — субботник по уборке могилы — ищут и находят... забывают в последний момент сверток с грабельками и совком, решают не возвращаться: не будет пути...

К могиле приближались. Два голоса, по проторенному Монаховым пути, не сбиваясь... Один — недовольный интеллигентный баритон, другой — попроще, семенящий алкогольный говорок. Недовольный накачивал в себе интонацию строгости и недовольства, словно сам не очень-то доверяя своей грозности, но

не допуская такого недоверия с чьей-либо стороны. Простоватый — недобросовестно имитировал сообразительность и будущую исполнительность, по-видимому, состоя в наиболее простых отношениях с будущим, то есть все наперед зная. «А я говорю, другая культура тут не взойдет», — сказал, оправдываясь, он, и слово «культура», не принадлежавшее его гортани, отделилось и застряло в ухе Монахова. «Культура...» — со странным гортанным клекотом повторил баритон. И они вошли, отрезав Монахову и Светочке путь к отступлению. Седоволосый и тот, другой, в ватнике... Будто он не ожидал, что кто-нибудь есть на могиле... будто здесь никогда никого нет... Монахов смутился, успев, однако, быстроватым взглядом ухватить надменность профиля седоволосого, и теперь сличал его с профилем на камне. Сын... думал он. Определенно сын... «Сын», как бы недовольный присутствием посторонних, смотрел в сторону, прервав себя на полуслове: пошатал жердочку ограды, отер ладонь... Монахов подтолкнул Светочку к выходу, пришедшие посторонились, пропуская. В проеме калитки Монахов, не ожидая этого от себя, сказал «до свидания», и «сын» кивнул кратко, как экзаменатор, и тут же стремительно впорхнул за ограду. «А вы сажали?» — тут же загудел за спиной Монахова его недовольный голос. «Как не сажать...» — отвечал могильщик.

Монахов был почему-то тронут. Сын непременно любил отца. И эта хозяйственная деловитость была почему-то как раз впору гению. Монахов быстро шел по тропинкам, будто давно зная дорогу, будто раскладываясь с уже знакомыми могилами короткими кивками на ходу. Вот собственница... а вот автор строки... Нет, кладбище это не то место, на котором покончены счеты с жизнью, думал Монахов. Вон как покойнички вцепились в нее и не выпускают... Им изменило только движение; остальное — все еще при них: положение, вкусы, тщеславие... и вот даже... любовь ближних и признательность соотечественников...

Я кончился, а ты жива,
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу...

— читал он Светочке по дороге к дому то, что помнил.

Не каждую сосну отдельно,
А... та-та-та... все дерева...



«Забыл», — сказал он. Было особенно безветренно и тихо.

Так оказалось, что могила эта произвела-таки на него впечатление. Мысли его приняли необычный ход, он что-то такое стал отмечать вокруг, как бывало: листик там, какое-нибудь мелкое животное, поддавал ногой камешек... И слушательница рядом — была. Во всяком случае именно ей он мог поведать мысль о том, что сильные впечатления вовсе не происходят, как на сцене: «как вкопанный», «как громом пораженный» и в таком роде... Они проявляются не сразу — сразу как раз характерна реакция торможения перед непривычностью, значительностью или силой предстоящего нам переживания. Сильным впечатление оказывается потом: проступает, проявляется (в фото-смысле)... Таково: были его рассуждения, компенсировавшие разом как недостаток чувств, так и избыток переживаний. Так и в любви... сказал Монахов. Не сразу. Сначала кажется — так себе, а потом оказывается черт-те что. Светочка напряглась.

Монахов быстро выгреб «награду свою». За чуткость и впечатлительность. Возмездие стояло на пороге и выглядело как встреченный им поутру одноклассник — что тут делать?..

— Ты знаешь, кого я сегодня еще встретил!.. — радостно возвестил он и, не дожидаясь проявления страстной заинтересованности со стороны Монахова... — Да-да, Ядрошникова!..

Ядрошникова Монахов и не силился вспомнить. Школьный приятель был такой старый... Он потряс потрепанным мешочком «Березка», в котором булькнула за три шестьдесят две; Монахов представил его Светочке, и они прошли в дом: Светочка, за ней приятель, за ними гостеприимный Монахов, с тоской глядевший им в спины.

Дальше все пошло как по-писаному. Светочка отнимала у Монахова сковородку: «Где у тебя соль? а

лука у тебя нет?» Приятель, теребя свою седоватую эспаньолку, басил, поглядывая на Светочку и определяя степень ее с Монаховым отношений, пока еще не отводя его в сторонку, чтобы спросить, давно ли «он с ней» и «как она»; у Монахова наконец что-то всплыло про него в памяти, а именно, что приятель еще в школе слыл первым «по этой части» — сейчас он, с брюхом и сединою, уже как бы не должен был нравиться, потому что не нравился Монахову; Светочка была оживлена. Наконец она позвала «мальчиков» к столу. Приятель произнес длинный тост, вставляя английские словечки (он, оказывается, был и по этой части); Монахов от смущения заторопился выпить, поперхнулся; Светочка же ничего, не находила приятеля ужасным... Н-да, уединился... с тоской подумал Монахов, выпил еще, и — отпустило. Он очень удивился, обнаружив себя через некоторое время рассказывающим один запомнившийся ему школьный эпизод: как украли в кабинете английского магнитофон — тогда еще редкость — а воров так и не нашли... «Ты разве не знаешь, кто украл?» — удивился приятель. «А ты знаешь?» «Конечно», — сказал приятель, но секрета не раскрыл. «Ит ваз э марвелос стори, — добавил он таинственно. — Ты Асю помнишь? Ну да, как ты можешь не помнить...» «При чем тут Ася!» — Монахов зачем-то рассердился. «Он был в нее влюблен», — пояснил приятель Светочке. «Она была моя жена», — хотел сказать Монахов, но не мог выговорить «была». «Влюблен?..» — приподняв бровки, протянула Светочка. «Ты знаешь, что она умерла?» «Нет», — посомневавшись, ответил Монахов; он пытался как раз припомнить нечто чрезвычайно неприятное, связанное каким-то образом именно с этим приятелем... Будто как-то раз ужасно приревновал Асю к нему... Неужто за дело? Так, по-видимому, постарался тогда тут же это забыть, что и забыл. «Какой ужас!» — воскликнула Светочка. «Рак», — подтвердил приятель. «Сначала там все вырезали, потом удалили одну грудь...» Монахов давно не пил, тем более за три шестьдесят две... «Мерзкая все-таки эта водка», — пробормотал он и вышел, задев стул.

Никогда в жизни он не блевал. С чего бы это?.. он вышел на крылечко подышать. Дул поверху ветер, а

внизу было тихо. Вершины сосен качались, ветер шуршал хвоей. «Жалуясь и плача...» — вспомнил Монахов и больно ударил кулаком по перилам. «Тьфу, честь!» — сказал он, тряся кистью, и вернулся в дом.

Ни Светочка, ни приятель, однако, никуда не исчезли; Монахов глупо удивился их присутствию и не обрадовался. Приятель сидел уже рядом со Светочкой, гадал ей по руке. «Да! — восхитился Монахов. — Вспомнил! Тогда, двадцать лет назад, он точно так гадал по руке ей...» Монахов и про себя не назвал ее по имени... (Тень того неприятного воспоминания ко-со спланировала с шорохом ночной бабочки, вызвав озноб в спине). «Лонг инаф, стронг инаф, пут ит ин», — рассказывал тем временем смеясь приятель. И это Монахов вспомнил, и этот анекдотец он тогда рассказывал про Логинова, Строганова и Путятину (фамилия приятеля была Путилин, и он относил анекдот на свой счет). Светочка английского не знала, она изучала немецкий. Какой же язык изучала она?.. — Монахов не мог вспомнить. — Конечно, она и того не знала, какой изучала, но все-таки какой?.. Поняла ли она тогда эту шуточку?! Монахов зло посмотрел на «Путит-ина» и пошел ставить чайник.

«Дай я сделаю, — Светочка отняла у него, — ты не умеешь». «Что тут уметь? — возмутился Монахов. — Кофе-то растворимый!» «Евреи, кладите больше заварки», — рассказал анекдот «Путит-ин». Светочка долго крутила ложкой в сухой чашке. Монахову это казалось ужасной пошлостью. «Кто тебя этому научил?» — спросил он неприязненно. «Будет с пеночкой», — пропела Светочка. «Тебе нехорошо? — заботливо спросила она, подавая ему чашку. — Смотри, какая пеночка... Ты так побледнел». «Ты меня спрашиваешь, или я побледнел?» «Почему ты со мной так разговариваешь?» — насторожилась Светочка. «Опоздаешь на электричку», — сказал Монахов.

Светочка наконец обиделась и стала стремительно собираться, дрожая губами. Приятель, молча и понимающе наблюдавший, тоже встал, не забыл свой мешочек «Березка». «Мне тоже пора», — сказал он.

Светочка выпорхнула не прощаясь. «Так мы тебя ждем завтра», — сказал приятель. «Как это мы?..» — опешил Монахов. Уже мы!.. — поразился он. «Ты что, забыл, с Ядрошниковым, мы же договаривались...» «А, да...» — сказал Монахов. Приятель уже спешил. Монахов услышал его грузный бег. Догонит...

Он прикрыл глаза и поплыл, комната два раза повернулась вокруг оси... «А, что!» — вскочил он как ошпаренный. Кто-то стучал в окно. Он впустил заплаканную Светочку. «Ну, ну, извини...» — Монахов не выдержал женских слез.

Светочка сбивала постель, как пеночку. Легли, и Монахов погладил ее по прохладной от слез щеке... Что на него нашло? — удивился он. — Обидел девочку... Путилин тоже... Монстр, конечно, но ведь вполне добродушный. Светочка поцеловала его руку. «Ты что?» — Монахов ласково руку отнял, опустил ей на грудь. Грудь была крошечная, детская. Он отдернул руку, будто его ударило током. Ужас иглою пронзил Монахова, словно рука его провалилась в дыру. «Ты что? — нежно спросила Светочка и опустила свою руку вниз. — Устал? Спи, милый».

Зато утром он был рад, что Светочка оказалась рядом.

Он проводил ее на станцию и позвонил домой. «Неужели? Когда? Она была без сознания?.. — бессмысленно повторял он. — Еду. Конечно, прямо сейчас и еду».

Как некровному родственнику пришлось Монахову принять это на свои плечи. На это он как раз не досадовал и принял (про эти дела нельзя сказать — легко и охотно, можно сказать — готовно). Досадовал он скорее на то, что не оказался готов к этой смерти. Не в том смысле, что был потрясен; нет, бабушку было, конечно, жаль, но бабушка была обречена, это было уже неизбежно, вопрос лишь когда (вчера); бабушка была не его. Досадовал же Монахов на себя, что эти дни, когда все наконец было свободно и спокойно, провел он впустую, ничего не поработал, никак не преобразился... и вчерашний день в особенности заставлял его постанывать от стыда, тем более перед лицом с... да, именно ее... Будто он был виноват в том, что на его

голову — Светочка, Путилин... Он их искал? звал? Они его достали... В конце концов точки над «и» расставлены, и он свободный человек, — так что, и так он виноват не был. Не виноват же он, что бабушка умерла!.. Все это так, но выстроив все эти неоспоримые доводы, оказывался он виноват снова и снова, и в том, и в другом, и даже в бабушке... Не был готов. «Достаток распутного равняется короткому одеялу...» — он любил криво ухмыляться этому изречению, считая его подходящим именно к такому случаю. Случаи такие (без бабушки...) бывали. Не сразу удавалось оправдать чувство вины похмельем. Как-то оно всегда казалось более убедительным, чем просто плохое самочувствие.

Кто обманывает? Кто бегаёт с гробом?.. Кто стрижет на кухне составные части салата?.. Кто топит котят? Вот котят-то как раз и топят самый что ни на есть нежный человек. Другой за это не возьмётся... Покойная их топила.

Монахов ее хоронил.

Итак, слава второстепенному персонажу! Это именно он хоть что-то делает за героев — чувствующих и живущих. Это он приносит им телеграмму, довозит до дому и оказывает первую помощь. Обслуженные со всех сторон, подключенные проводами разного рода к свету, воде и информации, они получают время и силу на те мысли и чувства, которые годятся в прозу. Прозаик мог бы и впрямь полагать себя взобравшимся на пирамиду жизни, властвуя уже и над самими героями, если бы в своей жизни бывал бы так же хорошо и невидимо обслужен, как его герои. Но ему, в жизни, все время приходится заниматься именно тем, от чего он освобождает героев, — в жизни он перегружен функцией второстепенного персонажа; для себя он далеко не так свободен, чтобы успеть ощутить жизнь, доступную его героям. Все закругляется, замыкаясь в кольцо: властвуя над героями, он для них напишет книгу, которую они возьмут в руки или захлопнут или забудут в такси, — напишет на правах того же, кто их довел или принес им телеграмму. И прозаик устает, и его

симпатии все более располагаются к случайно упомянутым вскользь и тут же пропавшим со страницы тетушкам и возницам, пьяным водопроводчикам и даже милиционерам, его начинает раздражать настойчивая и эгоистическая жизнь героев: с чего это они взяли, что именно они живут, а я что, и жить не должен?! Денег у меня нет, семьи распались, и мне не хуже чем Иисусу, «некуда прислонить голову». Хуже, чем Иисусу, потому что я еще, к тому же, и не Иисус, а — смертен! На кого же потратил я жизнь свою? Второстепенные птицы имеют гнезда, второстепенные лисы имеют норы... Герой мой входит и выходит из своей квартиры, теряет, подлец, от нее ключи! Так ведь придет второстепенный, пусть пьяный и неумелый, слесарь и впустит его, и вот он снова у себя дома... А ведь и я мог бы проводить свое время с кем-нибудь, кто мне дороже моего героя, так мне — негде! На том свете меня кто-нибудь напишет... помучит, конечно, но зато сам не заметит и не поймет, какими неизъяснимыми свободами принадлежности себе вознаградит за это... Но то беда, что даже Гамлет напишет Шекспира похуже, чем Шекспир Гамлета. Кто-то уже желчно подметил упадок русской литературы, что в ней прежние персонажи стали самовыражаться, что последующую литературу стали создавать Башмачкины и Пироговы, Лебядкины и Передонозы. Возможно, он прав и в смысле критическом, но для меня он прав в вышеупомянутом смысле, его устами глаголила... Раньше я оберегал героев от смерти, теперь мне понятна великая традиция их уничтожения: нельзя оставлять их после себя, развращенных тою свободою, которая возможна лишь на страницах. И то сказать, что же это за конец романа?.. Герой идет по утреннему городу, розовый от рассвета, блуждающая улыбка идиота, символизирующая начало новой жизни, отражается в асфальтовой луже (потому что непременно проезжает на этой странице поливальная машина, ведомая второстепенным персонажем...) — куда он выйдет, перешагнув мелкое и не всегда даже встречающееся препятствие из дат и мест написания? Правильные герои умирают на последней странице, ибо, изнеженные в книжном пространстве, они просто не выдержат выхода за ограду обложки: там им некому будет подать и

поднести, там их решительное социальное падение из главных во второстепенные на уровень живой жизни совершенно не устроит. Так что смертельный исход на страницах для них даже, в каком-то смысле, гуманен. А если они-таки перешагнут и расползутся по жизни, как по страницам? Боже упаси! не с этим ли мы отчасти уже имеем дело? Разбредутся и еще в свою очередь напишут, а те, уже их герои, в свою очередь напишут?.. Не-ет, убивать!.. только убивать их в конце. Пусть читатель пожалеет, но зато подражать не станет. И дай бог ему счастья в его живой, второстепенной жизни. Но если вы не сторонник кровожадного романтизма, а, так сказать, уже поддавшись демократическим тенденциям и симпатиям к второстепенному персонажу, отдаете предпочтение натуральной школе, то и тогда есть способ выпустить вашего героя, выращенного вами из второстепенных, за пределы художественности и обложки (что, в определенном смысле, и есть единство): тогда — снова свергнуть его на уровень второстепенного, унижить его, после недолгой центральности, так, довести до такого ничтожества и праха, чтобы убивать, право, и рука не поднялась (так, кстати, и справлялись с задачей лучшие представители натуральной школы, как то Гоголь). Такие хоть, выйдя за пределы, не выйдут из ничтожества, не возьмутся и за перо. Потому что взяться за перо — это уже быть герсем (почему и берутся, не вникнув в омонимическую каверзу слова «герой», герои литературные). Ибо та свобода, которой награждает своих героев автор, рождается из той, которую он героически отвоюет у собственной жизни и то — лишь в акте творения, лишь в акте творения!.. Но ведь — и нет другой свободы. Герой и свобода — нет нерасторжимей понятий! А если достиг, а если испытал, а если убедился, что она-таки есть (свобода!), — то пусть и гибнет, на то и герой. Ибо что это за герой, который не погиб? что это за участь, самому себе не веря, доказывать в очереди за пивом, что ведь — было! было! вон про меня даже написано... доставать пьяные разлохмленные документы (все мое ношу с собой...) и среди них сквозящую на сгибах газетную вырезку... Ибо что это за герой, который

выжил (язык не подведет, он подыщет глагол...)? А ведь и не выжил — а опять же погиб, только уже не как герой. Мало совершить подвиг, надо красиво погибнуть, чтобы стать героем. Тот и герой, кто красиво гибнет. То есть решительно и окончательно даря свой триумф людям, не получив «награду свою». Ибо что делать, когда и подвиг уже совершен и почести возданы? Свобода лепит героя, но свобода — это не то, чем можно воспользоваться. Ее дело ощутить. Ой, не мало! Но что делать потом с этим уплощившимся остатком жизни? Куда его девать? На новый подвиг? Но подвиги — не заготовленная впрок форма, для которой требуется лишь смелость и решительность, чтобы войти. Смелых и решительных куда больше, чем свободных. А свободу после свободы не обретишь... Поэты — певцы свободы не потому, что воспевают ее, а потому, что — гибнут. Оттого с ними и носятся, как с героями, что они удерживают свободу дольше всех и сохраняют за собой ценой гибели. Поэты — это герои самой литературы. Они уже не люди, но и не персонажи. Они — граница жизни и слова. Свободным, им ничто не грозит, кроме успеха, слова, равного слову «выжить». Но успех это не слава.

Куда проще на второстепенных ролях... Кто подсунет пейзажик за спину героев, кто даст передохнуть от настырности их бытия читателю? Кто тайком отдохнет в отступлении сам?.. Автор.

Машина, простояв три дня, не заводилась. Именно сегодня, когда она была так нужна. Монахов попробовал все, что сам знал, последовал всем советам, которые ему дали редкие дачные прохожие, в том числе — полизал электролит. «Ну как, кислый?» — спросил советчик. «Не знаю», — с тоскою отвечал Монахов: лизнув, он ощутил во рту лишь спекшийся вкус кофе и сигарет — вчерашнего дня. Сердце противно билось. Он был нездорово возбужден. Он спешил соответствовать. Была тут не только готовность помочь и поддержать жену и ее близких в горе, но и какая-то даже охотность — отделаться на время от самого себя под столь благовидным предлогом. Второстепенность и ответственность его роли как-то сразу подошли ему, ему стало удобно употреблять себя — бескорыстно,

по чужому делу. Не он умер и не у него умерли, и не кому, кроме него... Смерть делала все несомненным, как она сама. Нужен был Монахов, и вот он; нужна машина, и она все-таки завелась; нужен был, по-видимому, гроб... и Монахов ехал.

По дороге он понял, что не может вспомнить покойной, хотя виделись они достаточно часто и не так давно. Помнил только, что ей стало плохо, когда она впервые увидела мужа внучки, то есть Монахова. Она лежала навзничь поперек кровати, с белым фарфоровым лицом, приоткрыв рот, сверкая полоской золотых зубов. Она лежала нелюбезная, злая, и Монахов не мог понять, чем он ее так напугал, кого это она ожидала на его месте увидеть, какого такого принца? «Графиня...» — вспомнил Монахов «Пиковую даму» и усмехнулся: занято то, что бабка и впрямь была графиней... Но за первым впечатлением шел провал из подчеркнуто вежливых приветствий и чаепитий («Вам покрепче?») — Монахов обнаружил, что забыл покойную еще при жизни. Он про нее не помнил, он про нее знал. Знал, что у нее расстреляли мужа (деда жены, графа), и второго мужа (кажется, князя) тоже расстреляли с интервалом в девять лет; что всю жизнь проработала она медсестрой (почти шестьдесят лет), слыла, ее знали титулованнейшие наши медики, которым она до самой смерти, уже не работая, могла позвонить и попросить за кого-нибудь (и они исполняли). Скромнейшее существо... Вспомнил вдруг ее шляпку, рисовой соломы, из Парижа (почему из всего выжила именно эта шляпка?..) — трудно даже вообразить, что это можно надеть, так она ее всякий раз надевала перед зеркалом, и когда отходила от него, то это была уже и впрямь шляпка, надетая единственным образом, как в те времена. Бабка проступила наконец в сознании Монахова, а именно, смех ее он услышал, смеялась она очень молодо и заразительно. Монахов еще подумал, что память на голос у нас гораздо точнее, чем на лицо. Перебрав в памяти знакомых мертвых, он вспомнил голос каждого и каждый раз поеживался, до чего отчетливо этот голос звучал. К голосу отчетливей всего припоминалась улыбка, от нее — ухо,

щека, вот уже и лицо стало видно отчетливо, сейчас можно и в глаза заглянуть... в этот момент отец отвернулся, отвел взгляд, лицо провалилось, и осталась рука... рука была отчетлива и отдельна, напоминала ту, которая лежала сейчас на баранке, его собственную... раньше Монахов не отмечал этого сходства. Бабка смеялась и рассказывала почему-то именно с весельем, что они едали у себя в поместье («в той жизни», — смеясь, говорила она), ели они, получалось, все время и много (вкусно, само собой) — трудно было в это поверить, глядя на худенькую маленькую девочку-бабку, нет, толстой она и тогда не была, такая же как сейчас... Дальше почему-то, с тем же колокольчиком смеха, шел рассказ об аресте (вхожу в камеру: мне: «Ставь самовар!», а я по сторонам зыркаю, где он? а надо было ответить: «Варенье под столом», а так они сразу поняли, что я в первый раз), потом о Соловках (она ездила навещать графа, а тот был страшный кошатник и развел семнадцать кошек, так когда переезжал с командировки на командировку, то кошек — в мешок и с мешком на новое место), было это сорок пять, нет, сорок шесть лет назад, — и она опять заразительно смеялась...

Бабка, и так маленькая, совсем исчезла в гробу, который привез Монахов. Пепельный лепесток... Он, однако, забыл про ленту и тапочки. Покрывало было у нее припасено собственное. Была еще железенькая, дореволюционная еще, коробочка из-под зубного порошка с землею из родного имения (Псковской губернии), единственное, что осталось у старушки, кроме шляпки. Монахов, потрясенный, машинально ее открыл и закрыл, потрясенный еще больше: земля была старая, тоже как пепел. Эту коробочку она хранила, чтобы быть похороненной в своей земле. Монахов быстро съездил за лентой и тапочками и вернулся.

Ночь она должна была простоять в церкви... Монахов поехал в ту единственную, которую вспомнил, потому что отпевал уже в ней однажды одного своего знакомого. Но тогда организация лежала не на нем, и теперь он не знал, как это делается, с кем надлежит переговорить, как это оплачивается и т. п. А время уже склонялось к вечеру, надо было успеть обернуться с похоронным автобусом. К тому же — требовалась

справка о «заморóзке», иначе, якобы, в церковь
положат. У Монахова голова шла кругом.

Церковь стояла в уцелевшем московском
улке, пустом и тихом. Старые же, уцелели вокруг де-
ревя. И будто сохранившиеся со времен Саврасова
грачи делали круги в смеркающем небе. Службы ни-
какой не было, он зря дергал дверь. Он обошел во-
круг — никого. Приник к щелке ворот. Старуха в чер-
ном подбирала во дворике щепочку, несла к самова-
ру... Радостный, Монахов заколотил в ворота. Стару-
ха, не торопясь и не мешкая, бесстрашно отворила
ему. Монахов сбивчиво и торопливо, вдаваясь в под-
робности, боясь отказа, объяснил, в чем дело, и стару-
ха слушала или, скорее, терпеливо ждала, когда он
выговорится. Монахов и здесь ждал того же, с чем
сталкивался сегодня на протяжении всего дня, с чем
сталкивается наш человек, когда ему что-нибудь без-
отлагательно необходимо (он полтора часа ждал про-
давщицу в похоронном магазине: «ушла на базу») —
с уверенной в себе обходительностью отказа... Ста-
руха, выслушав, сказала: да, привозите, да, она тут все
время будет, да, и отопрет ему... И никакой бумаги не
потребовалось, никакой справки о заморóзке, на сло-
во... Монахов был изумлен. «Как звали?» — спросила
старуха. «Что?» — не понял Монахов. «Покойницу, как
звали?» «А!» — обрадованно понял Монахов и отба-
рабил, как в отделе кадров, как на плацу, фамилию-
имя-отчество. «Раба божия Мария, — повторила ста-
руха, — хорошо, я запомню». Изумление Монахова пе-
реросло в восторг. Вот так просто... сказал — и все?
и моего слова достаточно, и ее? неужели когда-то так
и было? то-то бабка смеялась всю жизнь... Монахов
вышел из старухиногo двoрика в другое время, в дру-
гое пространство. Казалось, церковь таинственной си-
лой удерживала вокруг себя и эти деревья, и грачей,
и переулoк... И не так, как ему показалось, когда под-
ходил сюда, что церковь цела еще оттого, что уцелел
еще уголок, в котором она расположена, не так пони-
мал теперь Монахов: теперь ему было ясно, что все
это вокруг уцелело благодаря церкви, находясь в ее
поле. Именно поле (в том, научно-популярном, тепе-

решнем смысле) ощутил вокруг церкви Монахов... Но вот, восторженный, легкий, перешагнув он какую-то невидимую черту — раздался автомобильный гудок, скрежет тормозов, шофер погрозил ему кулаком, возвышалась новенькая номенклатурная башня, милиционер из будки посольства новенькой страны глянул на него без осуждения... и Монахов вспомнил, что он и сам на машине, а забыл, а пошел пешком — вернулся и покорно в нее сел.

Он все сделал, что надо. Он сделал совершенно все. Бабка проводила в церкви свою последнюю земную ночь. К сожалению, сказал он жене, мне обязательно там надо быть... я быстро, туда и обратно. И он поехал к Ядрошникову.

И он неотчетливо помнил, как оказался перед окнами Светочкиного общежития.

Свечка дрожала в его руке. Он поддерживал ее и другой рукою, а она все равно дрожала. Горячий воск капал на руку, Монахов чувствовал это горячее на руке с долей радости: признак жизни. Всю дорогу он старательно жевал жвачку, лишь перед самой церковью перестал, все-таки неудобно жевать в церкви... и ему казалось, что от него разит на метр вокруг; он старался встать особняком, ничего и никого не коснуться. Воспоминания вчерашнего вечера слиплись, он старался их по неосторожности не разлепить. Ощущение греха, стыда, нечистой совести было таким разлитым и сильным, что не нуждалось в уточнении; страшно было бы, если бы что-то конкретное всплыло на поверхность памяти. Достаточно было той внутренней дрожи, что пронизывала зыбкое его тело. Ему казалось, что свеча в руке как-то особенно громко трещит, не как у других, словно это он сам, скудель греха, коптит и чадит через свечу, и вкус во рту был чудовищный, и еще ему казалось, что от него пахнет псиной. Он даже сообразил, как такое могло быть, что псиной... У него вчера случился приступ радикулита, и заботливая Светочка привязала ему к пояснице клочок, и впрямь собачьей, шерсти как вернейшее средство... А с утра шел мелкий, как пыль, дождь, все висело в тумане... Вот, отсырело. Найденная причина, однако, мало успокоила Монахова: ему по-прежнему казалось,

что и свеча чадит из него, и псиной несет не от шкурки, а из него, и что он стоит тут, исчадие ада, и почему-то еще под ним не разверзается, но в любую минуту разверзнется. Ангельскими надтреснутыми голосами запели старушки: и та, что продавала свечи, и та, что выписывала ему квитанцию (была все-таки и здесь квитанция...), и та, святая, вчерашняя... Что и успокоило чуть Монахова, так это неприятный и понятный поп, с такой скукой и ленью отбарабанивший «ныне отпускаеши», сглатывая не то что слова, но умудряясь одними гласными произнести даже и абзац в одно слово, что на секунду Монахову показалось: не в том же ли состоянии и поп?.. тут-то он и переступил для прочности, словно сходя с того места, которое должно было под ним разверзнуться.

Прощались поспешно, поп нетерпеливо переминался у гроба... Монахов все-таки пересилил себя и тоже приложился ко лбу покойной, следом за женой. Как бы это могло что-то поправить между ними, изменив вчерашний день... Ощувив под губами этот всегда непривычный, особенный холод, он отошел, переживая странный вкус, заполнивший после поцелуя рот. Этот отчетливый вкус что-то очень напоминал, достаточно редкое, но и недавнее. Что же? — совершенно уникальный вкус. «Аккумулятор!» — вдруг осенило Монахова, и он неоправданно обрадовался догадке. (Опять с утра он безнадежно заводил машину, да так и не завел... опять он лизал электролит). И тогда другой, предыдущий вкус всплыл во рту... и опять не сразу... пока, почти взыв и зажмурившись... не понял он, что это был вкус Светочки... там... так что, когда восстановился, перекрыв все эти тонкие оттенки, общий вкус водки в этом перегаре, то показался он Монахову святым и безгрешным... Но вся эта радуга — водка-кофе-табак-Светочка-аккумулятор-покойница — поразила помутневшее и ороговевшее сознание Монахова, будто вкус оставался последним еще доступным ему живым чувством. Не слышу, не вижу, не понимаю, не чувствую... один вкус!

Но снова старушки подхватили святыми голосами... а поп уже уходил, с портфелем. Тут только, и то к сча-

стью, с ужасом вспомнил Монахов про коробочку с землей... ринулся за попом. Объяснился с трудом, задышавшись, чтобы не дыхнуть ненароком на попа. Тот перекрестил, переложив портфель из руки в руку, эту коробочку и опять пошел. А положить-то, положить куда, в могилу? или рассыпать?.. Туда и положите...—лениво сказал поп. Куда туда? В гроб! — рявкнул он на ходу.

А гроб уже выносили к автобусу. Монахов успел подсунуть...

И тут он увидел Путилина. «Вот и я», — сказал он, улыбаясь мягкой продрогшей улыбкой. И выдержав непонимающий, неузнающий взгляд Монахова, добавил: «Я тебе обещал помочь». Монахов этого не помнил. Путилин был зябкий, синий, отсыревший, словно стоял тут давно. «Что же ты внутрь не вошел?..» — отчужденно спросил Монахов. «Не хотел мешать...» — почтительно сказал Путилин. «Слушай!.. —сказал Монахов и сглотнул. — Это правда?» «Что, что ты...» — испуганно, даже чуть отступив, спросил Путилин. «Это правда, что Ася умерла?»

Кто-то что-то где-то перепутал... Дождь хлестал, туман не рассеивался, и еще, сквозь него, тухлым желтком проступало солнце. Неба не было. Бога не было. Черта не было. Земли не было. Желтая сопливая глина разъезжалась под ногами. Упираясь, под углом, как бурлаки в лямке, они толкали вперед тяжкую, сваренную из труб, диаметром приближающихся к фановым, тележку с Асиным гробом. Колесики у тележки не крутились и оставляли по глине плоский салазочный след. «Сука!» — процедил Монахов, имея в виду того синего, еле стоявшего на ногах у ворот черта, который выдал ему эту вагонетку в обмен на покойницкое удостоверение. Покойницкое удостоверение напоминало формой, цветом и размером бывший в пору Монахова ученический билет. «Зачем удостоверение?» — осведомился прозленный Монахов. «А чтобы вы тележку назад прикатали», — доброжелательно объяснил черт. «Суки!» — повторял Монахов. Гроб катался по трубам и сползал. Монахов видел сбоку запачканные до колен ноги друга и преисполнялся к нему благодарным чувством: «Трогательный мужик Путилин!» «Что же у него все-таки с ней было?..» Кладбищу не было конца. В кулаке

Монахова была зажата бумажка, размером с трамвайный билет, на ней было написано «Участок 72», а они проползали сейчас 34-й. «На половине передохнем», решил Монахов. Встали. Монахов оглянулся: теперь и назад кладбище простиралось до горизонта. Оно было видно все насквозь, потому что деревца были посажены лишь в первых рядах могил и еще ничего не способны были заслонить. Да и вряд ли тут что-либо могло прижиться — тут и трава не росла. Они перекурили; теперь и здесь это никому не казалось кощунственным. Монахов перевернул билетик: там было написано «Лаврик». «Бригадир, как ты думаешь?» — сказал он Путилину. «Пожалуй», — согласился Путилин. «Вот и кладбище Хованское, — отметил он. — Ховать, значит. (Пут-ит-ин, вспомнил Монахов). И бригадир — Лаврик...» «И душу, уготованную в рай, перепував, отправили в ад, да еще и вместе с провожающими... — добавил Монахов. — Кто святой, кто грешник, кто живой, кто мертвый — какая и м разница?» Так пошутив, они тронулись дальше. Ботинки были насквозь. Ноги скользили сначала в ботинке, а потом уже ботинки — по глине... Однокашники вспомнили школу: трение качения и трение скольжения... Путилин казался Монахову очень близким человеком, братом. «Слушай... я давно хотел тебя спросить...» «Да?» «Да нет, это я так, пустое...» Путилин, помолчав, согласился: «Пустое».

Они дошли, наконец, до предела. Кончились кресты, кончилась и гряда свежих холмиков. Впереди, фронтом, зияли пустые могилы. И—рылись. Готовые, полуготовые, только что начатые. Могильщики по двое торчали из могил, кто по шею, кто по пояс, кто по колено — на всех стадиях цикла. Впереди простирался бескрайний пустырь — будущее этого кладбища. В одну сторону он до горизонта был усыпан ржавыми консервными банками с примесью ветоши и бумаг, иногда взлетающих и садившихся, как своего рода птицы. Впрочем, точнее, свалка тянулась не до самого горизонта: по горизонту она была оторочена капустным полем, — но сизо-серый налет дня на всем и сокращенная моросью видимость совершенно почти уравнивали капусту с консервными банками; во вся-

ком случае впечатление, что банки эти посеяны и произрастали в этом аду, как раз и выводилось из предполагаемого наличия капусты на самом горизонте. Тележки здесь, в конце тропы, столпились в очередь. Перед ними уже трое ждали могилы. «Это надолго», — согласился Путилин. Дождавшиеся, первые, голосили в последний раз над покойником, то ли от горя, то ли от облегчения. Могильщики трудились, как каторжные, их голые тела лоснились. Там и сям на кучах земли валялись свежеепустошенные бутылки. Могильщики были пьяны и работали с таким остервенением, будто собирались уже не уходить отсюда, а тут и сгореть, на переднем крае. Особенно один могильщик все отвлекал взгляд Монахова. Юноша, пухлявый и трезвый, еврейский мальчик студенческого вида, он явно не справлялся с бригадным темпом, и его от природы красная еще детская щека уже синела от явной сердечной недостаточности, в глазах его ныла непроживаемая тоска именно этой минуты, куда глубже национальной, тысячелетней. Что его сюда загнало, при явной его домашности и без тени какого бы то ни было падения? Идея какого и на что заработка?.. Куда?.. Он отставал в производительности и гладкой кожей ощущал презрение бригады, когда через несколько бросков вновь и вновь замирал отдышаться. Лопаты остальных мелькали безостановочно. «Возможно, он не вылезает из могилы, пока они курят и пьют, потому что, к тому же, не курит и не пьет...» — вяло подумал Монахов. На мальчика было больно и неприятно смотреть, но он притягивал взгляд. Здесь стоял последний знак равенства, над этой глиной. Могильщики, мертвые и провожающие, и бухой оркестр, игравший над телом отсыревший гимн, и капуста и банки, и воздух и вода, — все это уже понимало друг друга, не имея никакого отношения к себе. И над всем этим расплюснутым, даже вогнутым пространством, как памятник, возвышался человек-люцифер-зверь-красавец-пахан-бог, и он-то и был безусловно ЛАВРИК. Бог смерти Лаврик стоял на двух кучах земли, широко расставив ноги в офицерских сапогах, на недоступной ни для умерших, ни для смертных высоте, чуть подрагивая неподвижным коленом и неподвижной ухмылкой, чуть поглядывая на исто-во закопавшихся подчиненных и отсыревших, сбившихся,

как бараны, подопечных. И впрямь, провожающие в конце пути, казалось, сами собирались сойти в могилы. Лаврик был высок, строен, элегантно, по-урочьи тощ, он был без рук. Эта идея, что над землекопами властвует безрукий, прямо-таки пронзила мозг Монахова. Это — так! «А водку, интересно, ему подносят ко рту?» На плечи, чтобы скрыть увечье, легко, как-то даже грациозно, как бурка, был накинута ватник. И — лицо! Лицо его было красиво, с правильными, калеными тонкими чертами, а из-под легко сдвинутой на лоб кепки, насмешливо и безнадежно, смотрели поразительной синевы глаза. Так что, поймав их взгляд, Монахов даже на небо посмотрел: неужто прояснело? — небо было необратимо серо. Лаврик знал, что — все, что — конец, и это ни удручало, ни вдохновляло, ни забавляло его. Никогда не случалось Монахову видеть человека с такой печатью. Ни смирение, ни отчаяние, ни истерика, ни поза, ни скорбь — жизнь, прожитая в непрерывной власти и кончающаяся во власти, которую уже никто не свергнет. На нарах или еще где привык он к ней? В глазах его дотлевающего лица жил незамутненный ум, который все видел и все знал, никогда не размышляя. Он оценил внимание Монахова; легко соскочив, скорее слетев, как птица, оказался перед ним. Кивнул на гроб: «Ваш?» Монахов усвоил и кивнул на впереди стоящих: «Нельзя ли побыстрее?» «Вы где хотите, чтобы ваша бабушка лежала?» «Здесь не все ли равно?» — Монахов выразительно обвел взглядом окружившую их мерзость запустения. «Не все равно», — со знанием сказал царь тьмы. «Тогда где лучше», — сказал Монахов. Еле заметным движением своих роскошных, девичьих ресниц Лаврик указал на нагрудный карман. Монахов понял. И как только его рука пошла назад, оставив нечто над сердцем Лаврика, — так он, как ангел, пренебрегая гравитацией, взлетел на прямых ногах на те же две кучи — лишь чуть привзмахнул рукавами ватник — и там стал со сложенными крыльями. «Быстро! все на эту могилу! могилу бабушке — мигом!» — сказал он негромко и резко, и не было дистанции между приказом и исполнением. Только тот юноша грустно не поспел за приказом... И впрямь не

Андрей Битов. Вкус

прошло минуты. «Прощайтесь», — сказал Лаврик. М
в этом справедливом и заслужившем себя мире Лав-
рик показался Монахову более на месте, чем тот по-
Открыли крышку; от адской тряски по глине бабушка
сбилась набок, отпущение грехов вывалилось из рук,
но зато в них хорошо удержалась коробочка с отчей
землей. Монахова даже передернуло: ему казалось,
он отчетливо помнил, что в руки ей ее не клал. «Бо-
же! — взвыл он. — Если ты здесь! Будьте все прокля-
ты!». И это «все», вполне вмещавшее и его самого,
было так отчетливо! Как мы хороним... ни земли, ни
смерти... Так потрясла его эта коробочка... Будто баб-
ка знала, что не будет более земли, как в этой коро-
бочке!.. И ведь внесла, последнее, что сделала, внесла
единственную живую щепоть на эту глину...

Застучал молоток. Гроб завели, подвели полотен-
ца... И тут вдруг у Лаврика выросли руки — это было
изумительно! ловким ласковым движением выдернул
он полотенце. И даже «Мир праху» сказал, и «Земля
пухом», и «Спи спокойно».

Спокойная, здоровая, живая ненависть кипела в
душе Монахова. Он видал зло. Он не ведал сомнения.
Он понимал, что за свои грехи он вполне готов отве-
тить. Но — вот этого — не простит никогда. Вчераш-
няя идиллия мертвецов, похожих на свои памятники,
разъярила его. То, к чему мы идем, не было ни пер-
спективой, ни угрозой. То, к чему мы пришли, было
фактом.

Я кончился, а ты жива...

«Умерла...» — подумал он.

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ МАРИ БРОССЕ

Если жизнь мудрецов и выдающихся людей принадлежит современной им истории, то и потомство, в свою очередь, хочет знать их уроки и добродетели, достойные подражания и восхищения.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Мари Броссе

ПАРИЖ

I

Великий народ Франции создает замечательных людей не только для своей страны, но и для всех народов мира.

НА ПЕРЕПУТЬЕ

Илья Чавчавадзе

5 ФЕВРАЛЯ 1802 года в Париже, в семье негоцианта родился третий сын. По настоянию тетки по материнской линии мальчику дали двойное женское имя — Мари-Фелисите. Во избежание недоразумений он позже прибавлял иногда к нему мужское имя — Ксавье, а то и довольствовался лишь последним. Это помогало противостоять также привычке матери и домочадцев называть его Сент-Мари, т. е. Святой Марией. Причины этой «женской ностальгии» матери и тетушки не совсем ясны. Возможно, матери (и ее сестре) хотелось после двух мальчиков рождения девочки. Этих ожиданий Мари-Фелисите не оправдал. Недоразумение с именем полностью рассеялось в петербургский период жизни Броссе, когда к нему стали обращаться, согласно русскому обычаю, по имени и отчеству: Марий Иванович.

Мальчик родился на заре интересной и насыщенной событиями эпохи, в один год с Виктором Гюго. Вместе с поэтом он мог позже сказать:

Публикуется журнальный вариант.

Двухлетним был наш век. Пред Римом пала Спарта,
Вставал Наполеон из тени Бонапарта...



Однако наполеоновская легенда осталась в стороне от будущего ученого, и имя властителя дум многих романтиков лишь вскользь коснется его сочинений. И если уж суждено будет Мари-Фелисите разделить с Виктором-Мари Гюго одно общее влечение, то им окажется влечение к Востоку, которому поэт отдал дань в своем сборнике «Восточных стихотворений». На одно мгновение и только мысленно Гюго побывает в том городе и в той стране, где скрестятся чаяния и помыслы его сверстника:

Царь Персии живет средь страха и терзаний
В Тифлисе — в летний зной, зимою — в Испагани...¹.

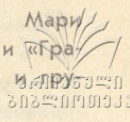
Волею судеб и в силу выбора Тифлис выплывает из своей романтической дымки, а окружающая его малоизвестная страна заполнит собою все сознательное существование Мари Броссе. Край, куда мысленно перенесся взгляд поэта, станет предметом изучения пытливого и неутомимого ученого.

Однолеткой Мари Броссе был и Александр Дюма, родившийся в Париже на шесть месяцев позже него. Кажется, все разделяло их: и темперамент, и особенности видения людей и мира — и, тем не менее, пути их иногда сходились. Оба обратились к истории, но ученый служил ей, а писатель заставлял ее служить себе. «Что такое история? — спрашивал Дюма и сам же отвечал: — Это — гвоздь, на который я вешаю свои романы».

Десять лет спустя после Мари Броссе, в 1858 году, автор романов, которыми зачитывалась Европа, побывал на Кавказе. Броссе был в Петербурге, когда туда прибыл морем Александр Дюма. Отсюда начиналось его путешествие по России. Но они не встретились. Знаменитого романиста окружало блестящее общество, он спешил вобрать в себя по возможности больше впечатлений. Ученый оставался в тени, завершив труд своей жизни, многотомное издание «Истории Грузии». И хотя перед своей поездкой в Россию Дюма прочитал и просмотрел немало сочинений о ней и о Кавказе, до серьезных трудов руки не доходили. К тому же Броссе печатался в Петербурге, а не в Париже. Не упомянул ли в беседе с Дюма кто-нибудь из образованных грузин имя его соотечественника, столь плодотворно работавшего на ниве грузинской культуры? Может быть. Но тогда, в круговороте новых лиц и новых мест, упоминание это кануло в забвение, не

* Перевод Г. Шенгели.

оставив следа в его путевых очерках. Со своей стороны Мари Броссе, видимо, был далек и от мира «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо», и от походов их автора на русскую и грузинскую землю. Но Грузия каждому воздала должное.



Отец Мари-Фелисите, Жан-Филипп-Франсуа Броссе, был носителем фамилии, широко распространенной в центральной Франции, вокруг Орлеана и в Берри.

Мать, Анна-Анриетта Беккер, происходила из знатной семьи Бретани, северной провинции Франции.

Жан-Филипп-Франсуа скончался в Париже 2 ноября 1802 года, когда его младшему сыну шел девятый месяц. Анна-Анриетта овдовела в двадцать четыре года.

Оставшись с тремя сыновьями на руках и со скромными средствами к существованию (семья понесла непоправимый урон в смутные времена революции), госпожа Броссе вынуждена была покинуть столицу и поселиться в Орлеане.

Религиозно настроенная и рано подвергшаяся испытаниям г-жа Броссе решила подготовить своих трех сыновей для церковной карьеры и затем удалиться в монастырь. Так что к знанию Мари-Фелисите приобщился в небольшой духовной семинарии Орлеана, которой в те годы руководил аббат Миро. Среди преподавателей выделялся аббат Паризи, ставший впоследствии Аррасским епископом. «В этом учебном заведении, — отмечает сын и первый биограф Мари Броссе, Лоран, — гуманитарные науки ограничивались изучением латыни, французского и начатков греческого; физические науки и математика были полностью исключены из программы; по части же истории довольствовались чтением вслух во время трапез».

Затем мальчик обучается риторике в Париже, в семинарии св. Николая дю Шардонне, после чего он изучает философию в семинарии Исси—филиале известной в то время парижской семинарии Сен-Сюльпис. В Исси Мари-Фелисите познакомился с древнееврейским и арабским языками. В 1818 году шестнадцатилетний юноша поступает послушником к иезуитам в Монружский монастырь близ города Со.

Однако религиозная карьера не привлекает его, и после двухлетнего пребывания у иезуитов он поселяется в Париже, решив посвятить себя изучению философии, а в еще большей степени—ориенталистике.

Семейных средств не хватало на жизнь, поэтому Мари-Фелисите заручился удостоверением репетитора и стал давать частные уроки. (В выданном Королевским Советом по народному образованию удостоверении репетитор Броссе предстает под именем Мари Ксавье). Начинается борьба за собственный путь в жизни. Общая ориентация интересов уже наметилась, но конкретное определение сферы их применения — пока еще дело будущего.

Молодой Броссе неустанно работает над собой и уже 15 декабря 1821 года сдает на филологическом факультете Парижского университета экзамены на звание бакалавра. Экзамены прошли успешно и 22 декабря 1821 года соискателю выдан соответствующий диплом. Мари-Фелисите проявил глубокое знание древнегреческого языка, который, по его собственному свидетельству, он изучил самостоятельно в парижской семинарии с тем, чтобы читать Гомера в подлиннике.

Интерес к древнегреческой литературе Мари Броссе сохранит на всю жизнь, а Гомер навсегда останется одним из его любимых поэтов. Уже став специалистом по истории и цивилизации Грузии, Броссе будет неоднократно мысленно возвращаться к античности. При этом греческая классика окажется для него своеобразным мерилom духовной и эстетической ценности, а иной стих из «Одиссеи», процитированный по памяти, проиллюстрирует мысль Броссе.

Постоянно расширяя круг своих интересов, Мари Броссе приступает к изучению языков Китая, Маньчжурии, Тибета. Поиск его идет в направлении оживившегося в те годы во Франции интереса к восточным языкам и цивилизациям, давшего импульс для основания в 1822 году в Париже Азиатского общества, начавшего издавать свой периодический журнал (выходящий и поныне).

К концу 1822 года Мари-Фелисите совершил поездку в Амьен и посетил находившуюся в этом городе, в женском монастыре Сакре-Кер, мать. Возможно, под влиянием матери Броссе еще раз — последний — делает над собой усилие, намереваясь посвятить себя религиозной карьере. Он просит и получает от епископа Амьенского датированное 6 января 1823 года свидетельство, удостоверяющее, что Броссе разрешено, продолжая учебу в семинарии Сент-Ашель, преподавать в ней гуманитарные науки.

От этого периода его жизни сохранилась толстая тетрадь с записями, где среди заданий по латинскому языку, разработанных Броссе для учеников, попадаются многочисленные выписки из

трудов, касающихся истории и языков народов Дальнего Востока.



Вскоре юноша окончательно убеждается в том, что государственная карьера не по нем. Осенью 1823 года Мари Броссе покидает Сент-Ашель и возвращается в Париж, решив заняться синологией и попытаться создать себе положение, соответствующее его интересам и склонностям. За осуществление этого замысла он взялся энергично, с большой силой воли и упорством. Помогало и крепкое здоровье. Лоран Броссе, автор краткого биографического очерка об отце, жалуется на недостаток сведений относительно научных занятий Мари-Фелисите Броссе в этот период. Мы знаем лишь, что он посещает лекции известных ученых в Коллеж де Франс и, в частности, слушает эллиниста Аза и китаеведа Абеля-Ремюза, которому его представил 24 октября 1823 года академик барон де Валькенер. Мари Броссе штудирует и интерпретирует китайские поэтические творения, среди прочих — древнейшее творение «Лицзин» («Книгу песен») — и посвящает им несколько научных статей. Первые китаеведческие исследования Мари Броссе заслуживают одобрение Азиатского общества, и 7 февраля 1825 года молодой ученый избирается его членом.

С Абедем-Ремюза Мари Броссе познакомился, когда тот занимал уже почетное положение профессора Коллеж де Франс. Но к этой высокой кафедре ученый шел издалека.

Родившийся в Париже 5 сентября 1788 года Жан-Пьер Абель-Ремюза был на четырнадцать лет старше Мари Броссе. Разница в возрасте, особенно заметная в молодые годы, обеспечила Ремюза авторитет и влияние в его взаимоотношениях с младшим коллегой и, на первых порах, учеником. Черты личности Абеля-Ремюза, пройденный им творческий путь оказались поучительными для Броссе, а условия работы и препятствия, с которыми приходилось сталкиваться старшему коллеге, определенным образом характеризуют атмосферу тех лет, которые предшествовали выходу Мари Броссе на научное поприще.

Абелю-Ремюза шел первый год, когда произошла Великая французская революция. Вместе с ломкой общественных структур она принесла во все области жизни поветрие обновления: расширялся горизонт знаний, возникали новые интересы и сферы применения молодых сил и энергии. В этом русле следовало представить себе и становление и первые успехи молодой науки ориенталистики, истоки которой восходили в глубь веков.

Учился Жан-Пьер в парижской Центральной школе, помещавшейся во дворце Четырех Наций, а по окончании учебы он здесь же начал преподавать.

Одновременно с Абелем-Ремюза в Центральной школе учился Антуан-Жан Сен-Мартен, которому суждено было сыграть решающую роль в судьбе Броссе. Несмотря на различие характеров, юноши подружились. Жан-Пьера отличали «пламенная живость ума, изысканные манеры, деликатность обращения», а Антуан-Жан обладал «положительным воображением, независимым характером, суровой откровенностью». Объединяла обоих беззаветная любовь к науке.

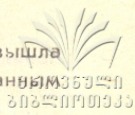
Будущие учителя Мари Броссе — Абель-Ремюза и Сен-Мартен — на красноречивом материале своей жизни преподали ему два основополагающих урока: преданного служения науке, верной дружбы и подлинной человечности.

Высшим взлетом научной карьеры Абе́ля-Ремюза и признанием его заслуг явилось предоставление ему кафедры в Коллеж де Франс, после чего в его биографии начался новый плодотворный этап. Именно в этот период Абе́лю-Ремюза и представили молодого Броссе. Мари Броссе стал одним из тех, кому Абель-Ремюза открыл богатства своего знания и чьи первые шаги он направил.

Китаеведение привело Мари-Фелисите Броссе в большую науку. Однако после пяти лет упорного труда в этом направлении он неожиданно предаст огню все свои неопубликованные материалы, переводы и исследования по лексике китайского языка. Об этом поступке Мари Броссе несколько раз вспоминал в беседах со своим сыном Лораном. Причину этого поступка последний предполагает в соперничестве ученых, в столкновениях Броссе с учителем. При этом предположении, однако, не следует упускать из виду два обстоятельства. Моральные принципы Абе́ля-Ремюза исключали мелочность в подходе к успехам ученика. К тому же с Абелем-Ремюза Мари Броссе сохранил хорошие отношения и после того, как отошел от китаеведения. Как бы то ни было, сдержанность самого Мари Броссе в этом вопросе повелевает и нам следовать его примеру.

Но и в этот кризисный момент Мари Броссе не оставался вовсе без дела. По возвращении в Париж, осенью 1823 года, он взялся за литературное предприятие, связанное с изучением античности и религиозными штудиями его юности. По поручению издательства «Фирмен Дидо» Броссе соглашается отредактировать и переиздать греческую версию «Подражания Христу», составленную отцом Меиром из Общества Иисуса. Книга, над кото-

рой Мари Броссе проработал всю осень 1823 года, вышла в свет в 1824 году с латинским предисловием, подписанным «Xaverius Brosset, Iesuitarum discipulus»^{*}.



Мари Броссе не мог долго оставаться в праздности. Место заброшенного китаеведения должны были занять другие интересы.

Примерно в 1826 году Мари Броссе начал изучать армянский, а вслед за ним и грузинский языки. Толчком к этой новой ориентации послужили научные чтения тех лет и, в частности, «Заметки об Армении» Сен-Мартена. Дружеское участие известного востоковеда помогло молодому ученому окончательно определить сферу своих занятий. Мари Броссе об этом никогда не забывал и многократно с уважением упоминал имя наставника на страницах своих исследований. Публикацию объемистой «Истории Византийской империи» Лебо, прерванную смертью Сен-Мартена, продолжил Броссе. Тринадцатый том, с которого издание перешло к нему, предваряет «Историческая памятка о Сен-Мартене» — трогательная дань признательности учителю. Думая о Сен-Мартене, он подписывается: «Броссе младший, его ученик».

Ко времени выхода текста о Сен-Мартене Броссе приближается к тридцатому году своей жизни, а у его воспоминаний — до десяти лет давности...

Мари Броссе шел двадцать второй год, когда его представили «знаменитому человеку». Нелюдимый юноша очень волновался и даже заготовил речь, с которой собирался обратиться к своему кумиру. Но в последний момент «смешался и вовсе онемел». Сен-Мартен все понял и оказал младшему коллеге радужный прием, развеяв его замешательство. «Так началось для меня, — заключает Мари Броссе, — благожелательное покровительство, о котором я буду вспоминать всю свою жизнь памятью сердца».

Как возвышенное проявление любви воспринимает Мари Броссе отношения учителя с учеником:

«С тех пор г-н Сен-Мартен предстал передо мной в новом освещении и со священными обязанностями интеллектуального проводника. Нет, дарование жизни и житейские благодеяния не устанавливают между отцом и сыном ни более прочных, ни более священных уз, чем те, которые объединяют учителя и его

^{*} «Ксаверий Броссе, ученик иезуитов» (лат.).

ученика. Счастлив человек, встречающий в жизни просвещенного учителя! Взгляд, интонация голоса, жест, слово, фраза, падающая из уст учителя, направляют, ободряют, вознаграждают. «Это хорошо! Сделайте так! Вы заблуждаетесь!» Дóроги и порицание, и похвала, потому что то и другое заключает в себе совет. Как далеки слова учителя от постоянного воя осуждения, от ввергающих в отчаяние советов, от ядовитых сарказмов, которые подтачивают или изводят душу! Нет, если бы я даже вспомнил о прочной подпорке, поддержавшей рост молодого побега лозы, о матери, направляющей первые шаги младенца, о лоцмане, ведущем корабль в разыгравшемся море, то все эти воплощения силы, мудрости, любви, служащие опорой слабости, неопытности, лишь несовершенным образом соответствовали бы нерасторжимым понятиям учителя и ученика.

Так говорит сердце преданное и горячее. И так выражается натура страстная. Мари Броссе был тем учеником, с которым не жалко делиться ни познаниями, ни годами накопленной мудростью, ни прозрением многообещающих путей! А внимание, без остатка отданное словам учителя, сдержанное волнение при продвижении по таинственным лабиринтам знания, радость постижения с лихвой вознаграждали за любые усилия.

Мари Броссе не относился к числу быстро воспламеняющихся и столь же быстро остывающих натур, пыл которых остается на пороге начинания. В своей тесной комнатке, обложенный книгами, словарями и изо дня в день разрастающейся грудой своих выписок, днем и поздно ночью, при колеблющемся пламени свечи, с пером в руке Мари Броссе упорно продирался вперед, сквозь заросли и чащобу неисследованных земель, как по буссоли сверяясь с наставлениями учителя. С ранней молодости он знал цену заработанному сантимуту и приоткрывшейся истине. Знал и утешение, когда, разгладив складки на лбу, обращался к собственным мыслям:

— Сладостно познание, добытое в поте лица! И да будет благословен учитель, поддержавший дух и его горение в этом трудном шествии!

Из глубины сердца вырывается у Мари Броссе пламенное признание: «Я любил, обожал, почитал, а теперь каждый день с горечью переживаю потерю знаменитого человека...»

Пройдут годы. Мари Броссе до конца своей жизни сохранит и благодарность к учителю, и эту страстную привязанность к человеку. Как и все, что он говорит (а тем более пишет), слова эти не окажутся легквесными. Говоря о Сен-Мартене, он избегает славословия и пристрастного суждения: быть сдержанным

повелевает Мари Броссе скромность учителя, а «его высокое благородство помешает (ему) покривить душой».

Детство Мари Броссе прошло на фоне наполеоновской, наполеонидеи и ее отголосков, в годы, когда юные Фабрицио дель Донго и Жюльены Сорели, не пренебрегая латынью, примеривали военный мундир или сутану священника. Отстранив от себя последнюю, честолюбие нашего героя определило для себя иное, мирное и мирское русло.

Благодаря профессиональной ориентации интересов Мари Броссе нам несравненно лучше знакомы мысли ученого о прошлом и настоящем Грузии, чем о его родной стране. Но отношение к родине, где он формируется как личность, важно для верного понимания всего его жизненного пути. В этом — дополнительная ценность исследований, написанных Мари Броссе во Франции: между строк в них иногда мелькают оценки окружающих людей и событий, в которые он поневоле вовлечен.

В размышлениях о Сен-Мартене, о других его учителях, коллегах и учениках проясняется представление Мари Броссе об идеале ученого, к которому он сам стремится. В нем вырабатывается такт взаимоотношений с людьми различных поколений: со старшими, с ровесниками и с младшими. Отношение к окружающим у Броссе естественное и ровное. Ему не приходится подлаживаться к людям ни по их возрасту (ученый не отказывался от самостоятельности суждения ни перед старшими, ни перед авторитетами и не заискивал перед молодыми), ни по социальному положению (поскольку ему чужды подобиострашие и карьеризм). К тридцати годам — и даже ранее — Мари Броссе предстает перед нами умудренным и закаленным жизнью человеком. И закалкой, и настойчивостью своей, и самостоятельностью в суждениях и действиях Мари-Фелисите, видимо, в немалой степени обязан стесненному детству и пересеченному препятствиями началу профессионального пути. Как и Абель-Ремюза и Сен-Мартен, достижениями своими он обязан в первую очередь самому себе.

На примере учителя Мари Броссе знает, что для ученого важно обладать даром критического анализа, способностью не принимать на веру видимость, улавливать несоответствия, обнаруживать такие стороны явлений, на которые до него не обращали внимания.

Как и Сен-Мартену, его ученику придется, сравнивая тексты и переводы, составлять для себя словари или, говоря словами

Мари Броссе, «изготавливать свои рабочие инструменты». Поиск Сен-Мартена прокладывал путь будущим исследованиям его ученика: персидский, сирийский, турецкий, зендский и, наконец, начатки грузинского помогали учителю лучше познать Армению, ее культуру и язык. Дойдя до Кавказа, Сен-Мартен «разобрал все то, что в то время знали о грузинском языке. Опираясь на Маджо, он составил для себя весьма неплохой словарь из нескольких сот слов. Поставив Армению в центре своих разысканий, он простирает свой интерес на Парфию, Мидию, курдские горы, Ассирию и Халдею; а греческий язык, употребляемый в Анатолии, вел его, через Лазику, к Колхиде, Иберии и Албании. Здесь он одно пояснял другим: языки и историю, хронологию и науки, и все взаимоотношения народов (этой) области».

Стрелка научных разысканий учителя, острием своим ориентированная на Кавказ, направит в эту сторону и интересы ученика. С той, однако, разницей, что для Мари Броссе центр научных интересов переместится в Грузию. Это не смущает его, подобно учителю, совершать многочисленные выходы в сторону сопредельных и соседних с Грузией стран, чтобы, опираясь на сведения их источников, проверять, а в случае необходимости — исправлять и дополнять картину исторического бытия изучаемой страны.

Специфика интересов отграничивает пределы основного поля исследований. История тесным образом переплетается с филологией, надежным подспорьем ученого. Преимущественный спектр исследований Мари Броссе — историко-филологический. Сен-Мартен же был по призванию филологом. И это дает Мари Броссе повод набросать выразительный обобщенный портрет филолога: «В нашем деле филолог является лишь шахтером, извлекающим необработанную руду и, самое большее, высвобождающим ее из облоочки; в то время как эрудит мастерски использует эту руду, умея извлекать из нее чудеса». Самого Броссе больше привлекают неожиданности, подстерегающие первопроходца, чем игра форм в руках ювелира.

Подобно учителю, Мари Броссе тоже «поставит языки на службу истории». Применяемое Мари Броссе по отношению к Сен-Мартену понятие «исторической филологии» вполне могло бы вместить и его собственные позднейшие размышления над проблемами топонимии, этимологии, лексики и грамматики грузинского и родственных или соседних с ним языков. Богатейшие залежи творческого наследия Мари Броссе по сегодняшний день еще слабо разработаны в этом направлении.

Для Мари Броссе ученый оценивается не только по своим профессиональным качествам, но и по умению дружить и общаться с людьми. Само понятие дружбы Броссе возводит в высший ранг философского осмысления бытия. Вслед за нравственной красотой ценит он красоту интеллекта. Последняя проявляется в чистом служении науке, когда стремление к познанию становится страстью. «Две души, — пишет Мари Броссе, думая о Сен-Мартене и Абеле-Ремюза, — влекомые их превосходной природой к благородной цели, встречаются на дорогах науки, понимают друг друга, чувствуют взаимное влечение, словно бы узнают друг в друге граждан одной общей отчизны. Такова философская дружба».

Когда Броссе пишет эти строки, он уже знаком с Руставели и его концепцией дружбы. Не правда ли, к ней он приходит внутренне подготовленным? Тем лучше подготовленным, что, как и грузинский поэт, для осмысления природы дружбы он за советом обращается к Платону. Занятия наукой и стезя дружбы проходят, в глазах Мари Броссе, через сюз нравственности и истины.

Продвигаться вперед в области изучения незнакомого языка, обычаев и свойств далекого народа приходилось на ощупь, иногда подвергаясь насмешкам и издевательствам, чаще — наталкиваясь на стену холодного безразличия. Жизненно необходимым было в таких условиях не потерять веру в правильность избранного пути и в грядущую пользу своих занятий, «не отчаяться в себе самом». По примеру Сен-Мартена в одиночестве закалял себя и Мари Броссе.

И еще, осмысливая для себя принципиальную позицию учителя, Мари Броссе отныне считал своей основной профессиональной задачей попытаться «приподнять... густую завесу полунауки...»

Мари Броссе был человеком ума и сердца. Нередко, судя по его поступкам, справедливее было бы сменить последовательность этих слов. Броссе искренне удивлялся «людям, которые думают, будто научные разыскания иссушают сердце» и которым «невдомек, до какой степени развивается в подлинном литераторе нравственная чувствительность».

Прежде чем двигаться дальше, Мари Броссе выясняет для себя, каким образом механизм честолюбия соприкасается с требованиями человечности: «Конечно, — замечает он, — стремление к славе служит мощным импульсом; однако литературное бес-

смертие является отдаленным обещанием, а наш друг — здесь, и перед ним следует оправдать его уважение к нам и доказать, в свою очередь, наше уважение к нему. Мольер и Бюффон хотели нравиться своим слугам».

Рядом стоят имена писателя и ученого. Приравнены две славы — гениального комедиографа и великого ученого. Молчаливо признается равенство за двумя сферами познания. Выбор имен не случаен. Среди гениев отечественной литературы Мольер был одним из наиболее человеческих в жизни. Но, пожалуй, еще красноречивее упоминание Бюффона. Того самого Бюффона, который вдохновил Оноре де Бальзака на создание грандиозного плана «Человеческой комедии» (нужен ли более яркий пример преемственности наук и искусств?). Ведь Бюффон не только большой ученый, но и мастер литературного изложения своих открытий. Говоря словами Мари Броссе, Бюффон сочетал в себе «шахтера» и «эрудита», что не могло не привлекать молодого ученого (даже если практически обилие срочной черновой работы не всегда позволяло красиво преподносить ее).

Сен-Мартен придерживался иной концепции науки и ее утрированной сухости. Мари Броссе не полемизирует в этом вопросе с покойным учителем. Но, кажется, в деликатной форме и для читателя вдумчивого выбор свой он сделал: в пользу Бюффона. Беллетризованная — «бюффоновская» — линия в творческом наследии Мари Броссе с наибольшей силой доносит до нас тембр его глосса.

Отчетливо присутствует у Мари Броссе и ощущение историчности. К тому, как он воспринимал историю, ученый сам вернет нас еще не раз. Но уже из приводимых им эпизодов из жизни учителя очевидной становится его способность выделить красоту из будничного, историческое — из преходящего. Историю от дня сегодняшнего Броссе никогда не отчуждал. Вопросая давно свершившееся, он пристально всматривался и в современность, свободный от мертвящего предрассудка, будто все великое — в прошлом. Да и само прошлое он воспринимал не как окаменелость, а как отсаянное временем живое, причем отсея он не считал ни непреложным, ни раз и навсегда произведенным.

Сен-Мартен был человеком крайностей. В этом Мари Броссе не будет на него похож: «Учитель одобрял и желал видеть в научных трудах чистую науку. Все то, что не было мыслью, он называл фразой, и таким образом определенный пассаж терял в его глазах всякое достоинство». Броссе сравнивает его с Абедем-Ремюза: «Весьма отличный в этом от своего друга, не менее элегантного писателя, чем точного философа, г-н Сен-Мартен желал

и во всеуслышание провозглашал свое пожелание, чтобы наука была иссушенной, скучной (именно к этому слову он прибегал). Он беспрестанно возвращался к своей мысли и хотел, чтобы это предписание соблюдалось всеми, кто подпадал под его воздействие. Если сам он исключал себя из этого правила, то, по правде говоря, касалось это не формы его литературных сочинений, а их содержания, которое он всегда умел сделать интересным для людей искусства».

Спору нет, не любое научное содержание, особенно в своих частностях, поддается беллетризации. Однако стремление к общедоступности свойственно человеку. В другой связи Мари Броссе сошлется на вольтеровское определение: «Все жанры хороши, кроме скучного». Конечно, Вольтер имел в виду литературу. Но неизменным ли условием существования для науки является скука?

На первых порах развития востоковедения освоение экзотических реалий вызывало у людей недоумение. Эхо этого недоумения слышится в череде удивительных вопросов, которые вынужден поставить перед собой — вслед за учителем — Мари Броссе: «Полезно ли человеку знать? Должен ли он, может ли он чему-либо научиться у других народов? Является ли изучение языков и древностей необходимым орудием для ознакомления с их обычаями? И, что до Востока, возможно ли, нужно ли чему-либо учиться у народов Азии? Вот в чем проблема».

Не смеясь (или не смея смеяться), Мари Броссе обстоятельно отвечает себе: «Если речь идет лишь о том, как говорят насмешники, чтобы узнать, как называется шапка в тысяче лье от нас и в ста лье вокруг нас, то из этого, очевидно, никакой пользы не извлечь нам, домоседам, хотя путешественник и думает иначе. Впрочем, здесь дело обстоит так же, как по части роскоши. Если бы человек ходил нагишом, то и потребностей у него было бы меньше; будучи невежественным, он знал бы меньше: вот и все. Таким образом, науки соединяют полезное с приятным».

Чтобы отвести от новой дисциплины участь Золушки, Мари Броссе вписывает востоковедение в цикл общепринятых наук в том виде, в каком они представлялись «честному человеку» прошлого столетия: «Без географии и хронологии нет истории и, следовательно, нет ничего определенного в прошлом; без астрономии нет ни хронологии, ни навигации и, следовательно, нет ни

торговли, ни обмена, ни путешествий. Народы обособляются, нет ни духа ассоциаций, ни возможности управлять людьми; и, однако, время движется, ум озаряется опытом прошлого. Он заставляет возобновлять торговлю, навигацию, развивать астрономию, хронологию, историю, географию, естествознание, положительные науки, промышленность: из этого круга не дано выйти. Наука филолога, с виду столь легковесная, приносит пользу благодаря тому, что она совершенствует орудие, необходимое для любого общения между народами, сберегая время и труд тех, кто желает использовать ее».

Не забывает Броссе отметить и вступление в круг интересов блистательного сонма ученых той далекой небольшой страны, которая с годами все более властно будет заполнять его помыслы: «Блестящее в своем начале и поступательное подобно своему образцу (т. е. солнцу), Азиатское общество распространило сначала пучок света в журнале, полном новых и интересных разысканий, и использовало свои ресурсы, следуя тому направлению, которое подсказывал ему его устаз. Все восточные языки, изучаемые в его лоне, китайский, армянский, арабский, пали, санскрит, маньчжурский, другая литература, родившаяся посреди него и по его вдохновению, литература Грузии последовательно развили свои трудоемкие поиски под сенью его покровительства».

Временное увлечение Сен-Мартена политикой, пагубно отразившееся на его продуктивности как ученого, наводит Мари Броссе на сравнительное размышление о природе политики и науки, об их несовместимости: «Не думаю, чтобы литератор был приспособлен для политических дискуссий. В глубине кабинета, куда едва проникает таинственный полусвет, окруженный драгоценными реликвиями умерших, Платон волен размышлять о великих принципах, управляющих народами, взвешивать их взаимоотношения, рассматривать их под всеми углами и извлекать из своего раздумья строгие выводы. Но общество есть нечто большее, чем абстракция. Под рукой литератора его мысль обретает твердую и неумирающую форму; в то время как нет ничего неизменного ни в политике, ни в религии, ни в морали, ни в администрации, главный принцип политики заключается в том, чтобы прежде всего учитывать мнения и злободневные потребности народов и постараться править ими, принимая их такими, какие они есть: поставив себя в отношения симпатии, а остальное приходит само и вознаграждает с лихвой».

Запальчивость и поспешность были чужды натуре Мари Броссе. Он любил строить свои поступки и свое поведение на разумных взвешенных предположениях. Уже сейчас, в Париже, количество

и объем срочных работ оставляли мало возможности для передышки, для взгляда на себя со стороны и осмысления своего бытия. Не будь священного долга перед памятью учителя, несомненно ни под каким другим предлогом Мари Броссе не смог бы позволить себе столь значительной паузы в рабочем распорядке своих дней. Характерно, что задуматься о себе ему удастся, лишь думая о другом. Но есть у Мари Броссе свойство, которое с неизменностью будут подтверждать дальнейшие годы его жизни: своих нравственных, принципиальных выводов, принятых наедине с самим собой решений он будет придерживаться неотступно. Броссе — сторонник целеустремленного расходования сил, энергии и знания. Такая ранняя и мудрая ориентация обеспечит ему завидную научную плодovitость.

Наблюдая за методом работы Сен-Мартена, Мари Броссе отработывает и свой собственный. Броссе — человек гибкий, открытый. Твердость в соблюдении им же разработанных правил поведения не влечет для него застылости, отсутствия восприимчивости к тому, что могло бы разнообразить их. Не ослепляет его и любовь. Для того чтобы любить, Броссе нет необходимости закрывать глаза на недостатки друга или учителя. В Сен-Мартене (как и вообще в людях) он ценит безупречную логику, но жалеет о том, что ему недостает воображения. Вполне приемлемо сначала «намечать план, разделы труда, его основополагающие идеи, сооружать леса здания», затем насыщать эти наметки «материалом путем разнообразных чтений, мысленно удерживая все то, что должно способствовать развитию темы; и лишь затем приступить к писанию, без другой книги кроме своей головы и разве что добавляя цитаты при считывании уже написанного текста».

Но есть у такого метода (как и у любого другого) и свои опасности. До конца логически продуманный замысел может создать у ученого иллюзию того, что работа уже готова (в голове) и что достаточно лишь перенести ее на бумагу. Стоит подумать так, как поиск теряет вместе со своей проблематичностью и интерес ожидания. Ученый остывает к работе, и она умирает, так и не родившись. Случалось такое и с Сен-Мартеном, и тогда это вырывало у его ученика горестное восклицание: «Увы! Сколько прекрасных книг умерло таким образом в его уме!» Вместо того чтобы служить процессу познания, чрезмерная логика убивала его. Что до Мари Броссе, то он будет остерегаться, пусть даже невольного, но все же тщеславия. Он не будет забывать о том, что пред-

варительные умозрительные построения, какими бы ни были качества породившего их ума, всегда приблизительны. Познание само корректирует себя по мере преодоления материала. При ближайшем рассмотрении всегда берегущего неожиданности. Пусть общая логика и строгость архитектоники окажутся более уязвимыми, Мари Броссе предпочтет шаг за шагом отвоеванные крупницы истины беспомощно рассыпающемуся на глазах прекрасному миражу.

Подстерегала Сен-Мартена и та опасность, что ему «превосходно удавалось, более всего улыбалось его натуре составление примечаний и работа над подробностями». Работа эта, совершенно необходимая для построения литературного труда, оказывалась пагубной, как только превращалась в самоцель, в некую «науку для науки». А именно это завлекало, завораживало Сен-Мартена и препятствовало завершению его конкретных замыслов. Просторы знания бесконечны, и если сознательно не ограничивать себя, то можно оказаться посреди завораживающего хоровода отдельных прозрений. Пройдет много лет, и один предвзятый критик, перед лицом всего написанного Мари Броссе, упрекнет его в чрезмерном увлечении примечаниями. Как и другие упреки, которые Броссе доведется в разное время услышать, это посмертное обвинение проистекает из недоразумения. Чтобы правильно судить о человеке, нужно сначала постараться его глазами взглянуть и на мир, и на его ремесло. Нет, Мари Броссе не злоупотребит тем, что сам отчетливо осознал как недостаток, как подчиненную целому частность.

Меньше всего в дальнейшем узнаем мы о семейной жизни Мари Броссе. Оно и понятно: и в переписке с коллегами, и в своих записях ученый держал в стороне от себя — если не считать общих фраз вежливости и нескольких скупых штрихов — все то, что относилось лично к нему и к его близким. И даже кое-что из того, что выходило за круг его личных проблем. Поэтому о семейной жизни ученого порою приходится только догадываться: таким плодотворным мог оказаться труд ученого, находившего поддержку и понимание своих близких. Немалой представляется вероятность истины, и потому — даже осознавая рискованность и недоказуемость такого хода — трудно устоять перед соблазном отнести слова Броссе, сказанные им о Сен-Мартене, к нему самому. Из слов этих вырисовывается «человек серьезный и домашний, (который) окружил спутницу жизни подлинным культом; причем людям, знавшим ее, известно, насколько она заслуживала такое отношение. Он же отдыхал в семейных удовольствиях от своей научной усталости».

При глубоком уважении к обоим учителям Мари Броссе по-человечески чувствует себя ближе к Сен-Мартену. Научная карьера Абея-Ремюза оказалась результативнее и весомее его вкладу в науку сравнительно с Сен-Мартеном. Но «качествами сердца» из них двух природа более щедро наделила Сен-Мартена. Для ученого Броссе человечность — превыше всего и даже выше его дорогой науки, призванной служить человеку, а не подавлять его. Делая для себя выводы, молодой Броссе задумает быть в науке твердым и последовательным, как Абель-Ремюза, а в жизни — сердечным и щедрым, как Сен-Мартен.

Импонирует Мари Броссе то, как Сен-Мартен окружил трогательной дружеской заботой умиравшего Абея-Ремюза, то, как он не покидал изголовья больного, а после того как «смерть нанесла свой последний удар...», проводил друга до избранного им места упокоения...» Подобные — неизбежные — испытания выпадут и на долю Броссе, и он сумеет каждый раз исполнить свой долг до конца, не раскрывая для постороннего взгляда глубины своего горя.

Первым таким испытанием для Мари Броссе явилась смерть Сен-Мартена. Грустно было наблюдать интриги, которые плелись вокруг учителя. Враги добились того, что Сен-Мартену отказали в кафедре истории в Коллеж де Франс. Затем отказали и в более скромном назначении на место Абея-Ремюза в отделе рукописей Королевской библиотеки. Поводом для отказа послужили монархические взгляды Сен-Мартена. Такая несправедливость немыслима для Мари Броссе, руководствующегося разумными критериями, в данном случае — критерием знания и научного авторитета: «Достойно сожаления, — пишет он со свойственной ему прямоотой, — что под давлением обстоятельств человек талантливый, призванный всеобщим мнением занять первое литературное место столицы, не смог, из-за своих политических взглядов, быть допущенным к оному».

Приближался неумолимый конец жизни, «славной своими успехами и преэратностями». В последний раз Мари Броссе видел учителя за три дня до его кончины. Печальные мысли одолевали Сен-Мартена, но он не хотел признавать себя ни сломленным, ни побежденным. Разразился сильный приступ мигрени. Смолоду подверженный ей, Сен-Мартен решил выдержать боль и на этот раз. За мигренью последовала тошнота, и вскоре стали очевидными сильные симптомы азиатской холеры. Болезнь (или,

по меньшей мере, ее название) пришла к Сен-Мартену из тех краев, куда на протяжении всей жизни устремлялись наиболее светлые его помыслы. «Посреди предсмертных конвульсий Сен-Мартен сохранил безмятежность духа и исторгал лишь те жалобы, которые поневоле вырывала у него боль. По прошествии кризиса он возлежал спокойно, выражая друзьям признательность за их заботу».

Чувствуя приближение конца, Сен-Мартен попросил передать секретарю Азиатского общества Эжену Бюрнуфу, чтобы тот пришел к нему. Бюрнуф поспешил к больному. Воспользовавшись передышкой, предоставленной ему болью, Сен-Мартен собственноручно передал Бюрнуфу рукопись, попросив на ближайшем заседании представить ее Комиссии по ориенталистике. Превозмогая боль и отвлекаясь от оставшихся незавершенными собственных замыслов, Сен-Мартен заботился в свой предсмертный час о труде другого. Это оказался выполненный Мари Броссе перевод грузинского Кодекса, снабженный его же критикой текста. Работа эта была вдохновлена Сен-Мартеном и начата при его поддержке. Учитель пожелал, чтобы с его последним днем отныне связывалось для Мари Броссе воспоминание о еще одной услуге и последнем молчаливом совете. На такой волнующей подробности обрывается жизнь Сен-Мартена, своим последним жестом вновь указующего Мари Броссе на далекую страну.

Броссе тяжело пережил потерю учителя. По его собственному признанию, «при виде того, как слава и надежды долгой жизни погребаются под прахом, ум помутился и в будущем виделись одни лишь горести».

Стоя над могилой учителя, Мари Броссе дал себе молчаливую клятву: «Глубоко почитаемый учитель, если бы память о вас нуждалась в памятнике более ценном, чем ваши труды, то памятник этот воздвигнут в сердце того, кто всегда будет гордиться званием вашего ученика. Да, я буду верен избранной религии до кончины и клянусь положить на вашу могилу мои слабые труды: пусть они хоть немного способствуют вашей славе! Свершится труд, в котором вы участвовали своими советами. На нем будет посвящение: «Душе того, кто был моим учителем и другом».

Так кончилась для Мари Броссе мучительная полоса поисков пути: и по предначертанию учителя, и по его собственному выбору отныне все силы его души поведут молодого ученого к одной цели: к Грузии.

Во второй главе, «В споре рождается истина», речь идет о принципиальной научной полемике Мари Броссе с немецким востоковедом Юлиусом Клапротом. Возражая оппоненту, ставит на научную основу новую для Европы дисциплину — грузиноведение.

III

«СУМАСШЕДШИЙ!»

МАРИ Броссе продолжает пополнять свои знания в избранной области, привлекая для этого все доступные ему источники, и задумывается над способами осуществления непосредственного знакомства с Грузией.

Ценным подспорьем для серьезного изучения этой страны должен был оказаться русский язык, и Мари Броссе, еще будучи в Париже, берется и за его изучение. На первых порах это дало ему доступ к самоучителю грузинского языка, изданному с русскими параллелями Фираловым.

Сохранилась маленькая записная книжка Мари Броссе, по-французски озаглавленная им «Диалоги Фиралова». Выписки в ней сделаны до августа 1829 года. Начинаются они так:

— Добрый день, милостивый государь!

— Приветствую вас, милостивый государь! Как вы поживаете?

Затем сообщаются сведения о болезни матушки и о добром здравии батюшки.

К отдельным словам Мари Броссе выписывает их русские соответствия, а иногда, для большей верности, подыскивает к ним и французский перевод: «одноколка — кибитка — кабриолет».

Осваивает молодой востоковед и основы для поддержания нехитрой светской беседы: «Он еще юн». — «Она прелестна». Но и тут не обходится без недоразумений. Одно выражение Мари Броссе не удается разгадать ни в грузинском тексте, ни в русском переводе: «Она смазлива». Что бы это могло означать? Броссе ищет, как ему кажется, сходные по корню значения: «мазь», «смазывать». Что же получается: «смазанная жиром»? Может быть — «накрашенная»? Собственная догадка не вызывает у Мари особого восторга, и он откладывает до удобного случая уточнение этого вопроса (как, впрочем, и ряда других).

Доступнее — и лучше осваиваются — связанные пассажи, потому что в них одни слова поясняют другие, срабатывает и филологическое чутье. Немножко чудно, но у Мари Броссе такое ощущение, будто несмотря на искусственность текста и его «скачкообразную драматургию», он все же участвует в некоей игре для взрослых этого экзотического общества:

— Не окажете ли вы мне честь отобедать со мною?

— С удовольствием.

— Следовательно, вы окажете мне честь подождать (Броссе не совсем понятно, почему одно следует из другого, но до этого ли!..) А до обеда мы можем немного прогуляться (следуют другие разновидности любезного предложения):

— Пойдемте, воздух достаточно хорош...

И вдруг неожиданное ускорение действия (Броссе, как и все, наслышан о горячности восточных людей):

— Ну-ка, поторопимся, обед будет скоро готов!

И тут же — подтверждение догадки о темпераменте:

— Я теряю терпение! (Фиралов переводит дословно: «выхожу из терпения»).

Последний штрих выводит на сцену безмолвствующую челядь:

— Слышь ты, человек, поди сюда! Сходи-ка скорее (очевидно, на кухню) да скажи, что кушать пора...

Не забывает Мари Броссе и о том, что даже на самых первых порах освоения чужого языка непростительной оплошностью было бы пренебрегать прекрасным полом. Но вот он и вооружен бесхитростными комплиментами (в устах иностранца достаточно, чтобы умилишь и тронуть нежный слух):

— Вот прекрасная женщина. Видная собой, красивая и статная (эту фразу желательно обронить, как можно нетче выговаривая слова в разговоре с собеседником, уловив момент достаточной близости объекта. А если эффект достигнут и прелестница наострила уши и замедлила шаг, можно блеснуть и более сложными тонкостями):

— Я никогда не видел ничего подобного. Заметили ли вы ее взгляд?.. (После паузы): Поистине прекраснейший цвет лица: белизна снежной вершины и жар ее ланит красотою своей превосходят лилию и розу...

Так-то. С кавказской красавицей следует говорить на языке окружающей ее природы и с привлечением тех сравнений, к которым приучили ее тамошние пииты:

— Зубы ее белизною своей подобны меду (так положено, наверное, намекнуть на сладостноз томление). Вззирающий на нее

теряет рассудок (спору нет, банально, но при благорасположенности может оказаться действенным).

А под конец можно и помечтать (благо это ни к чему не обязывает):

— Ежели незнакомка столь же умна, сколь прекрасна, то она вместилище всех совершенств.

Мари Броссе переводит дух и слабо улыбается своим легкомысленным и головоломным занятиям.

Углубляется Мари Броссе и в изучение текста грузинской библии, изданной в 1743 году в Москве грузинскими царевичами Бакаром и Вахушти.

Как и прежде, во всех начинаниях младшего друга поддерживает Сен-Мартен. Он делится с Мари Броссе цитатами из грузинских источников, которыми пользуется для своих арменоведческих исследований.

— Вы же знаете, мой дорогой Броссе, что моя библиотека в вашем распоряжении. Загляните ко мне и выберите то, что вас может заинтересовать.

Мари Броссе охотно пользуется приглашением и часто бывает у Сен-Мартена. На полках его домашнего кабинета плотными рядами выстроились тома переводных сочинений восточных авторов, многотомные обстоятельные «Путешествия» европейцев в страны восходящего солнца, первые систематические истории восточных стран, на страницах которых пересказ дворцовых интриг, гаремных страстей и светских сплетен перемежается с живописно выписанными сценами жестоких расправ деспотов и с картинами кровопролитных сражений. Книги эти покупались в книжных лавках Парижа, Лондона и Амстердама, выписывались по почте либо поступали в дар от друзей и коллег. Более скромны были тиражи «ученых» книг: грамматик, словарей, разнообразных справочников и компиляций. Да и чтение их было занятием менее забавным.

Мари Броссе хорошо освоил состав библиотеки Сен-Мартена и в свой очередной визит сразу замечал новинки. Молодой ученый редко позволял себе роскошь развлекательного чтения: оно оставалось на немногие часы усталости после углубленных занятий. Сделано еще так мало, а узнать предстоит почти все. Поэтому Мари Броссе не колеблясь берет с сен-мартеновской полки сухие и испещренные диковинными письменами учебники и штудии (к вящей радости учителя!).

Один из обычных маршрутов Мари Броссе пролегает мимо Французского драматического театра и фонтана с большой медной статуей сидящего с пером в руке Мольера — в сторону Королевской (а в будущем — Национальной) библиотеки. Проникнув через арку в просторный мощеный двор библиотеки, ее завсегдай привычным шагом направляется в департамент манускриптов. Библиотекарь встречает его приветливой улыбкой и обычным:

— Как поживаете, господин Броссе? А я для вас кое-что приготовил...

Благодаря заинтересованности молодого ориенталиста, его постоянству и неотступному поиску много нового для себя обнаруживает и хранитель отдела рукописей. Сняв драгоценную рукопись с длинного ряда затененных полок, библиотекарь бережно относит ее в небольшой читальный зал, кладет на стол, неторопливо перелистывает первую страницу, замороженно рассматривает непонятную черную вязь букв и знаков, подолгу задерживается взглядом на красочных миниатюрах, заставках, орнаментированных заглавных буквах. Библиотекарь радуется за молодого человека, своего постоянного читателя: то-то будет сюрприз для него назавтра утром! Состарившемуся в этих стенах служителю кажется, что он уже видит блеск в глубоких и немного грустных глазах г-на Броссе, мягкую улыбку благодарности в уголках рта и слышит слова признательности за находку.

Назавтра все в точности так и происходит. А остальную часть дня библиотекарь, занимаясь своими привычными делами, иногда исподлобья поглядывает на погруженного в чтение Броссе и с невольным восторгом думает про себя:

— Поди же ты, и такое можно выучить и что-то в нем понимать!..

Грузинские рукописи сравнительно недавно пополнили фонды Королевской библиотеки, и читателей их старый библиотекарь мог пересчитать по пальцам. Ни одну из этих рукописей не обошел своим вниманием сухопарый юноша с высоким, открытым лбом и гладко зачесанными волосами. А относящиеся к обработанным рукописям свои записи он использовал и в статьях, написанных по горячим следам и опубликованных на страницах «Журналь азиатик», и, много лет спустя, — для разысканий, которые будет вести в качестве академика Санкт-Петербургской академии наук. Мари Броссе ничего не выбрасывал, однажды сделанные заготовки всегда держал под рукой и помнил о них.

Уже в те первые годы своей научной карьеры Мари Броссе интересовала не только ветхая старина, но и сегодняшний Путь страны. Встреченные в Париже грузины подарили ему особенно тельно свежие номера «Тифлиских ведомостей» на грузинском языке. Из них Мари Броссе мог узнать о городских новостях, понаблюдать на примере газетного текста текущие формы речи. С газетой за 28 ноября 1828 года Броссе отправился на заседание Азиатского общества 6 апреля 1829 года и сделал там свое сообщение. Имел он и «Тифлиские ведомости» за 11 июля 1828 года. Газеты он бережно сохранил в своих бумагах. В дальнейшем они совершили вместе с Мари Броссе путешествие из Парижа в Петербург. Среди архивных бумаг ученого дошли до нас и эти почтенные пожелтевшие листки.

Наверху газетной полосы расположен герб, в центре которого изображен святой Георгий, поsverгающий дракона. Газета насчитывает четыре страницы без пагинации. Почти всю ее площадь занимают царские приказы и указы, хроника городских новостей. В номере от 11 июля 1828 года последняя начинается с сообщения:

«1 июля прибыл сюда из Санкт-Петербурга полномочный министр России при персидском дворе, статский советник Грибоедов».

Выделил ли тогда Мари Броссе эту новость среди других? Вряд ли. Он пока еще не знает, что «статский советник Грибоедов» является великим писателем России и что судьбу свою он навеки свяжет с Грузией. Не знает и того, что сам будет зачитываться «Горем от ума» и даже выпишет из Тифлиса грузинский перевод комедии. Но в одном обстоятельстве еще раз подтвердится чутье Мари Броссе: время у него на глазах произведет отсев, и среди сбереженных бумаг, как золото со дна морского, подымет и эту крупницу своего становления. И эти несколько строк из расхожей хроники превратятся в историю.

В 1832 году Мари Броссе представилась возможность проверить свое знание грузинского языка, приобретенное им приемами самоучки. В Париж прибыли племянники бывшего царя Имеретии Соломона II — царевичи Вахтанг и Таризл. Комический эпизод встречи с ними Броссе запомнил и много лет спустя рассказал его журналисту Георгию Казбеку.

Мари Броссе решил, во что бы то ни стало повидаться с грузинскими царевичами, услышать живую грузинскую речь и самому объясниться с ними. Интенсивная работа над грузинским

материалом, которую все эти годы он осуществлял, ^{открыл} владе-
дел, был уже довольно внушителен. Конечно, в порыве ^{забыл} он
забывал о разнице, существующей между книжным языком и
живым словом. Но ему не терпелось. Направляясь к гостинице,
Мари Броссе не замечал прохожих, не задавался праздными во-
просами: «Как объяснить? Что сказать?» Им владеет ощущение,
будто он направляется не к незнакомым иностранцам, а к
близким родственникам. Он проникает в холл гостиницы, поды-
мается по ступеням. Знатные иностранцы остановились в феше-
небельной гостинице «Европа» на улице Риволи, которая тя-
нется вдоль древних стен Лувра.

В эти годы у Мари Броссе нет постоянного пристанища в Па-
риже, один адрес сменяется другим: из дома № 2 по улице
Клуатр-Сен-Мерри он переезжает в дом № 68 по улице Сен-Жер-
мен-л'Оксерруа. Район этот ему хорошо знаком: Клуатр-Сен-
Мерри идет параллельно (через одну) улице Риволи. Дома
здесь, конечно, поскромнее, но до гостиницы «Европа» — рукой
подать. Но в этот день Мари Броссе идет не отсюда. Он пере-
местился по другую сторону от улицы Риволи, ближе к Сене. И
вновь его улица, Сен-Жермен-л'Оксерруа, направляется парал-
лельно улице Риволи. Даже забавно получается: может показаться,
что Мари Броссе заранее подбирал местожительства побли-
же к одной из наиболее памятных встреч его жизни.

У апартаментов царевичей посетителя встречает слуга, не
знающий ни слова по-французски. Броссе до этого дела нет.
Едва переведя дыхание, он по-грузински говорит лакею, что хот-
тел бы видеть их светлости.

Служ слуги, приноровившийся к звукам французской речи,
не узнает их. От непривычной артикуляции язык у пришельца
и вовсе немеет. Но он не обращает внимания на замешательство
слуги и делает шаг в направлении княжеских апартаментов.
Слуга преграждает ему путь и что-то громко восклицает. На шум
выходят сами князья.

Посетитель, несколько возбужденный, напрасно пытается при-
дать своей речи светскую учтивость и непринужденность —
словно ветром сдувает заученные фираловские любезности. Ужас-
но коверкая их, он выдавливает из себя вычитанные в грузин-
ских повестях витиеватые формулы приветствия. Все напрасно.
С каждой попыткой наладить произношение и добиться хотя бы
намек на понимание со стороны собеседников растет стена
непонимания. На лицах светлейших особ обозначается гранича-

щее с паникой недоумение, которое молодой француз только что вычитал в глазах слуги.

Остается единственная разумная возможность прервать домыслимого потешную сцену, которая уже привлекает любителей поглазеть. Мари Броссе откланивается и неловко ретируется, слыша за спиной хлесткое грузинское словцо, которое он-то отлично понимает:

— Гижиа!¹

Но Мари Броссе не признает себя побежденным. Уже дома, по трезвом размышлении его осеняет правильная мысль. Он берет перо и бумагу, роется в своих книгах и записях. Как всегда в критическую минуту, на помощь приходит «Букет слов» — словарь Сулхана-Саба Орбелиани. Броссе взвешивает написанное, тщательно переписывает набело каждую букву. На этот раз он доверил бумаге то, что давеча тщетно пытался выразить в звуках.

Снова промелькнули те же улицы, ступени, порог апартаментов. Гость молча склоняет голову, протягивает исписанный лист, ждет, затаив дыхание. Теплая волна подкатывает к горлу царевича Вахтанга, глаза его светятся. Он передает лист бумаги Тариэлу, широко разводит руки и... по-братски обнимает чудака-француза, самоотверженно выучившего грузинский и приветствующего их обоих здесь так, как это сделали бы соотечественники на родной земле.

Встреча «родственников», невзирая ни на что, состоялась!

По прошествии первого волнения царевичи вводят дорогого гостя к себе, усаживают и потчуют его, просят вновь произнести давешние слова и... о чудо! начинают различать до неузнаваемости преобразенные звуки, за звуками слова, а за словами — отцовско-дедовскую грузинскую речь!

Наладились теплые дружеские отношения, и во все время пребывания царевичей в Париже Мари Броссе часто и подолгу бывает у них. Общих интересов хоть отбавляй, а сочетая письменную форму с устной, общаться становится все легче: если собеседникам не удастся отгадать произносимое Мари Броссе то или иное грузинское слово, он тут же записывает его на бумаге и все проясняется, скрепленное радостными возгласами и дружелюбным смехом.

¹ Сумасшедший! (груз.)

9 октября 1832 года Мари Броссе получил на клочке синей бумаги записку Хайдар-бея (поскольку царевич Тариэл прибыл из Турции, где жил в эмиграции, то для посторонних он — Хайдар-бей): «Я, царевич Тариэл, прошу тебя, месье Броссе, прийти сегодня ко мне и повидать меня... Нынче ночью мне нужно будет срочно уехать».

Конечно, нелегка доля царевича-изгнанника, и даже успешному сблизиться с ним молодому французу не проследить за всеми подводными течениями его беспокойного существования. Но Мари Броссе тронут этим знаком внимания и спешит вновь на улицу Риволи. На душе грустно от предстоящей разлуки. В этот вечер голоса друзей звучат более сдержанно, чаще обычного слова перемежаются молчанием. И у царевичей, и у их ученого друга многое остается недоговоренным.

В ту ночь царевичи уехали в Англию. По возвращении они, едва устроившись, в первую очередь вспомнили изъясняющегося по-грузински парижанина, своего нового друга. Не откладывая в долгий ящик, сходили к нему (дружбе неведомы церемонии протокола). Не застали. Тогда писать записку сел один из братьев, царевич Тариэл: «Месье Броссе, из Лондона мы прибыли сюда, в Париж. Сам я был у тебя, но не застал... Ежели спросишь, где мы остановились, то это — Гранд Отель Бри-танник, на улице Людовика Великого, 20».

Направляясь с открытой душой и без задних мыслей на очередную встречу, Мари Броссе и не помыслил бы незаметно оглядываться по сторонам и принимать конспиративные меры предосторожности. Иначе глядя на него не осталась бы незамеченной худощавая фигура в сером поношенном сюртуке с поднятым воротником, как тень следовавшая за ним на почтительном расстоянии. А когда Броссе, радостно возбужденный, выходил из гостиницы и в голове у него теснились грузинские фразы и раздавался заразительный смех царевичей, мужчина в сером медленно расхаживал за углом соседнего дома с напускным безразличием. Эти мнимо праздные часы его оплачивались золотом из казны российского императора.

За царевичами следили, и потому тайная полиция его величества заводи́ла досье на лиц, с которыми они общались. Царевичи были замешаны в событиях недавнего восстания в Имеретии, и им не особенно доверяли.

Помыслы Мари Броссе были далеки и от политики, и от смут, но так уж складывалась его судьба, что то и другое неоднократно и непосредственно отражалось на ней: и французские революции, и грузинские смуты.

Так и сейчас: Броссе искренне казалось, что каждой из своих встреч он приближал и укреплял заветную мечту о встрече с Грузией, общении с ее народом. Увы, в тиши кабинета Третьего отделения уже первые контакты молодого любознательного француза зловещей тенью ложились на самую возможность такого знакомства. Тем более, что Мари Броссе продолжал поддерживать с Вахтангом и Таризлом эпистолярный контакт после их возвращения в Константинополь.

Царевичи хотели совершенствовать свое знание иностранных языков. По их просьбе Броссе перевел на грузинский краткую французскую грамматику Ломона. До нас дошли и рукопись этого перевода, и несколько пригласительных записок, направленных царевичами на имя Мари Броссе.

Общение Мари Броссе с царевичами вышло за пределы научных интересов. Прирученным — и приобщенным к встречам — оказался и слуга, с уст которого в тот достопамятный день впервые сорвалось опрометчивое «Сумасшедший!» Не раз, используя все доступные ему средства красноречия, извинялся за этот тяжкий промах Николоз, но убедился, что француз мелких — и невольных — обид в сердце своем не держал. И это вселило в него смелость попросить у здешнего ученого чего-то лекарства от донимавшей хвори:

— Понимаешь, месье Броссе, к кому мне, темному, без языка, обратиться в этом большом городе, как не к тебе? Не разгневайся и не обессуди. В великой крайности прошу тебя о благодеянии.

Мари Броссе прерывает излияния Николоза, чтобы расспросить его о болезни. В следующий свой приход он вручит ему лекарство. А некоторое время спустя получит от Николоза корявым почерком исписанный листок. В простоте душевной Николоз выводит на бумаге одну-единственную и не очень связную фразу. Адресату не все слова в ней удастся прочитать, и взгляд перескакивает с пятого на десятое, но общий смысл записки уловить нетрудно:

«Ваша честь, господин Броссе, поскольку Вы столь обходительны и человеколюбивы... мне тяжело просить Вас о новой услуге, но... после оказанной Вами милости и проявленной заботы по отношению к чужестранцу теперь прошу Вас, поскольку то подаренное Вами лекарство не пошло мне на пользу, может быть, Вы бы подарили мне какое-нибудь другое лекарство по Вашему слову и споспешеству, а еще умоляю Вас потому, что, может быть»

ся, вскоре придется нам уехать, и чтобы в дороге не оставя-
я таким хворым, милостью Вашей Вы свершите благодеяние и за-
служите благодарность, сударь. Вечно жаждущий служить Вам,
Николоз».

Посоветовавшись со знакомым аптекарем, Мари Броссе не замедлит достать и второе лекарство. В дальнейшем он мало что будет узнавать и об уехавших царевичах, и о недуге Николоза. Но долго еще сердце его будет согревать тепло этих первых встреч с живыми грузинами.

IV

ИСТОРИК ВСТРЕЧАЕТ ИСТОРИКА

И ВСЕ же Мари Броссе со всей очевидностью осознает, что все те документы, рукописи, фрагменты, которые попадают к нему, представляют лишь случайные крохи информации об интересующей его стране. Поэтому он все более серьезно начинает взвешивать план научной поездки в Грузию, мысль о которой подсказал ему Сен-Мартен. Друзья и коллеги поддерживают этот замысел. Конечно, Кавказ и экзотичен, и отдален, но уже многие европейские путешественники побывали там. Особенно интересны для Мари Броссе описания, содержащиеся в грузинской части знаменитого «Путешествия в Персию» Жана Шардена. С его страниц встают живописные картины жизни грузинской деревни, виды природы, зарисовки Тифлиса. Но с тех пор прошло около ста лет. Шардена Грузия интересовала совсем в ином разрезе, чем Мари Броссе.

Одновременно с Броссе хлопочет (но с большим успехом) о выезде на Кавказ швейцарец Дюбуа де Монперё, с которым судьба сведет французского ориенталиста. Но об этом Мари Броссе узнает позже. Да и какое это утешение?

Грузия в те годы ближе и доступнее дипломатам и купцам, чем ученым. В самом деле, вот уже несколько лет как в Тифлисе открылось французское консульство. Акт этот отражает возрастающее осознание Россией и Францией исторической и географической общности их интересов. Для современного Мари Броссе поколения русской аристократии и интеллигенции — шкинского поколения — французский язык так же близок и естествен, как и родной русский.

Мари Броссе начинает действовать. Он обращается к французскому правительству с просьбой направить его с научной

миссией в Грузию. Но для положительного решения этого вопроса необходимо заручиться сначала согласием русского правительства.

Французский министр внутренних дел де Пероннэ внимательно отнесся к докладной записке, представленной ему молодым ориенталистом 22 апреля 1830 года. Министр попросил представить ему на рассмотрение подробный план намечающейся миссии. Броссе откладывает все остальное, чтобы полностью сосредоточиться на этой задаче.

По составленному им плану, научная миссия должна длиться четыре года, из которых первый год предполагается посвятить изучению грузинских древностей, находящихся в Москве и Петербурге, а три последующих отводятся для непосредственного знакомства с Грузией и ее историческими памятниками. План молодого ученого обстоятелен и разумно обоснован. Последовательность знакомства с Грузией, приближение к ней издали, в «три приема» (грузинские древности — в Париже, затем — в Москве и Петербурге и наконец — в самой Грузии) призвана обеспечить наибольшую эффективность поиска и отражает картезианский подход, запечатленный в совете философа: «Разделяй трудности».

Для полноты впечатления (а также, очевидно, для облегчения транспортировки материалов, накопленных во время миссии) возвращение во Францию намечается морем, через Константинополь. Бывшая столица Византии также не может сама по себе не привлекать востоковеда: город хранит много ценных свидетельств о Востоке и в том числе о Грузии. (Недаром Гумбольдт предлагал командировать Юлиуса Клапрота для изучения Востока именно в Константинополь.)

Составленный Мари Броссе план направляется для заключения парижской Академии надписей и изящной словесности. Специальная комиссия в составе Сен-Мартена, Абея-Ремюза и Сильвестра де Саси одобряет план и вносит в правительство прошение о его осуществлении.

Но июльская революция 1830 года, как горестно замечает Мари Броссе, разрушила его проекты: сменилось правительство, пришли новые министры, в повестке дня оказались вопросы куда более безотлагательные. Пришлось повременить и уповать на лучшее стечение обстоятельств.

После свержения Карла X и ухода в отставку министра де Пероннэ прошло около четырех лет. На сей раз инициатива при-

Гастон Буачидзе. Страницы жизни Мари Броссе.

шла сверху. Известный историк Франсуа Гизо, бывший в то время министром народного образования, в начале 1834 года предложил Мари Броссе направиться с научной миссией в Персию. Предложение это означало официальное признание заслуг ученого в области ориенталистики. Сам Гизо был знаком с исследованиями Мари Броссе и ценил их.

Старше ученого собрата на пятнадцать лет, министр Гизо являлся к тому моменту, когда он назначил аудиенцию Броссе, автором ряда значительных сочинений по истории. С молодых лет вовлеченный в борьбу идей и учений, Гизо познал превратности судьбы, враждебность людей и учреждений. Не поддаваясь, однако, давлению неудач, Гизо перемежал две разновидности действия: в зависимости от обстоятельств он то лично включался в политическую и общественную борьбу, то вновь брал в руки перо историка, задумываясь над поступками и действиями других.

Эти две стороны личности Гизо хорошо подметил историк французской литературы Альбер Тибоде: «Будучи политическим деятелем, Гизо не разграничивал историческое прошлое, которое излагаешь, и ту историю, которую следует прожить, сотворить, продолжить. У истории он пррсил наставлений для современности. Подобно тому как существовало учение трона и алтаря, он следовал учению кафедры и власти».

А вот как это конкретно происходило в жизни Гизо. 12 октября 1822 года Гизо запретили чтение в Сорбонне курса лекций по Истории представительного правления, и он поневоле посвятил себя исследовательской работе. Одно за другим появляются его сочинения: «Очерки по истории Франции» (1823) и «История революции в Англии» (1825-27). Одновременно Гизо занимается литературой: пишет этюды о Шекспире и Кальвине, переводит произведения первого.

И хотя сочинения Гизо находились в стороне от непосредственных интересов Мари Броссе, он не мог не знать их. Другое начинание Гизо, очевидно, не оставило Броссе безразличным и, может быть, способствовало позже возникновению замысла и осуществлению самого значительного его научного творения — издания и перевода «Истории Грузии». Таким своеобразным толчком могло послужить «Собрание воспоминаний об истории Франции от основания французской монархии до XII века». «Собрание» это начало выходить под редакцией Гизо с 1823 года.

Созревшая в годы его научного уединения, мысль Гизо может вновь проявиться публично во время либерального министерства Мартиньяка. В 1827 году Гизо разрешили возобновить

свои лекции в Сорбонне. По этому случаю студенты и слушатели устраивают ему триумфальную встречу. Из этих лекций выйдут «История цивилизации в Европе» и «История цивилизации во Франции».

Гизо не довольствуется «словом с кафедры», он погружается в политическую борьбу и способствует, в частности, ускорению гадения Карла X. Этим действием объективно и невольно Гизо торпедирует рассматривавшийся тогда проект путешествия в Грузию Мари Броссе. И вот сейчас тот же человек вновь ставит замысел Броссе на повестку дня. Следует ли приписать это совпадение случайности или, скорее, — определенным доминантам культурных потребностей на длительный срок (таксы были и интересы востоковедения и, в частности, грузиноведения во Франции)? Так или иначе, внимание, проявленное Гизо по отношению к намечавшейся научной миссии Броссе, свидетельствует о широте его научных воззрений и о дальновидности.

Во времена Июльской монархии Гизо доверяют важные правительственные посты: он назначается сначала министром внутренних дел, а затем, в 1832 году, — министром народного образования.

Итак, в 1834 году встретились два человека сходных занятий, но различных жизненных ориентаций и общественного веса. Одному из них 47 лет, другому — 32. Для Гизо речь идет о национальных интересах, о желании предоставить молодому коллеге его шанс, быть может — о культурном престиже Франции. Беседа касается Грузии. В качестве одного из опорных пунктов в планируемом путешествии упоминается и французское консульство в Тифлисе.

Перед Мари Броссе сидел человек с квадратным волевым подбородком, тонкими и сжатыми губами, орлиным носом, густыми бровями дугой, высоким лбом, оголившимся от подступающей плечи. Взгляд и выражение лица выдают человека с острым умом, но обеими ногами стоящего на земле и не чуждого интриге и ее лабиринтам. Честолюбец, для которого важно не только «быть», но и «олицетворять». Пышные бакенбарды и волосы, развевающиеся, словно от порыва ветра, кажется, восходят ко временам романтического портрета Шатобриана кисти Жироде.

После аудиенции Гизо поручил Академии наук разработать план исследований и инструкцию для готовящейся миссии.

Комиссия Академии в составе Эжена Бюрнуфа, Амеде Жюбера и Катремера осуществила предложение министра, и 14 февраля 1834 года инструкция была уточнена и одобрена.

Приступили к подготовительным работам. Министр иностранных дел подготовил для Мари Броссе рекомендательные письма на имя французских официальных представителей в Санкт-Петербурге и Константинополе, а также на имя французского консула в Тифлисе.

Мари Броссе, ободренный, уверовал было в успех этой второй попытки и даже сообщил в письмах академику Френу и другим друзьям в России о своем скором приезде. Друзья готовились оказать Броссе теплый прием, прийти на помощь в его исследовательских планах, облегчить и сделать плодотворными его первые контакты на российской земле. Царевич Теймураз Багратиони попросил и заручился согласием находившегося в то время в Петербурге князя Давида Даддани сопровождать французского ученого во время его путешествия по Грузии.

Но путешествию не суждено было осуществиться и на этот раз: русское правительство, ничем не мотивируя свое решение, отказало иностранному вояжеру во въездной визе.

Мари Броссе, огорченный и обескураженный, напрасно ломал голову над разгадкой этой диковинной тайны: чем он мог заслужить немилость правительства его императорского величества?

Разгадку ее хранила сугубо секретная переписка министра иностранных дел Российской империи с главноуправляющим на Кавказе бароном Розеном. Из нее явствует, что Мари-Фелисите Броссе — ни много ни мало — подозревали в причастности к дворянскому заговору в Грузии в 1832 году.

В заговоре участвовали многие передовые люди тогдашней Грузии и среди них известный поэт и переводчик Вольтера, Корнеля и Расина князь Александр Чавчавадзе, на дочери которого, Нине, был женат Грибоедов. (С Александром Чавчавадзе у Мари Броссе позже и в самом деле наладятся взаимопонимание и взаимное уважение, но, разумеется, не как у заговорщика с заговорщиком). Бунтарям были близки идеи декабристов, они сочувственно отнеслись к польскому восстанию против царского самодержавия.

Как и декабристы и польские повстанцы, грузинские заговорщики многое из своего идейного арсенала черпали в опыте Великой французской революции и французского демократического движения.

До открытого выступления дел не дошло: заговор выдали. Любопытен характер расследования этого дела и общая линия,

которой придерживалось царское правосудие. Наказание назначили умеренное, и следственные органы стремились скорее замкнуть дело, придать ему более невинный оттенок. Боялись и дурного примера. Предпочли действовать под сурдинку, прибегнув к усиленной полицейской слежке, цензуре и прочим скрытым формам удушения живой мысли.

Опасения, вызванные заговором, надо думать, были серьезными, коль скоро целых два года спустя после его бескровного обезвреживания продолжалось строгое преследование по малейшему подозрению в былой приверженности к движению.

Серые силуэты, следовавшие по пятам за Броссе в дни его визитов в Париже к царевичам Вахтангу и Тариэлу, не оставались без работы и сейчас, хотя и по иной причине: новые нити подозрения тянулись к Мари Броссе с другой стороны.

На сей раз опасным знакомым Броссе оказался секретарь французского консульства в Тифлисе Летелье, человек незаурядный, активное участие которого в грузинском заговоре не вызывает сомнений.

Согласно сохранившемуся объемистому архиву «дела», в заговоре 1832 года подозревалось в общей сложности участие 145 человек, которых для удобства расследования и в зависимости от степени подозрения и серьезности предполагаемой вины следственная комиссия разбила условно на десять групп. В восьмой группе встречаются имена Летелье, бывшего губернатора Тифлиса, поляка Завилейского и... Мари Броссе.

Подозрение основывалось на том, что царевич Теймураз вел переписку с проживающим в Париже «неким французом», знающим грузинский язык (об истинном характере переписки Теймураза с Броссе мы вскоре узнаем).

Но и в этом случае огласили лишь одну — сравнительно безобидную — сторону истины. Один из тайных документов «дела», хранившийся в дипломатической канцелярии наместника на Кавказе под № 359, так недвусмысленно и озаглавлен: «О запрещении научного путешествия в Армению и Грузию отправившегося из Парижа профессора армянского языка Леваяяна (здесь описка: на самом деле французский профессор именуется Левайяном) и некоего Броссе». Дело содержит переписку графа Нессельроде и барона Розена.

Нессельроде пишет Розену: «Согласно полученным из Парижа сведениям (все тот же человек в сером!), профессор армянского языка Левайян и некий Броссе задумали по приказу

правительства Франции (была ли действительно об этом речь в кабинете Гизо во время аудиенции?) совершить по Армении и Грузии якобы научное путешествие, подлинная цель которого посеять семена смуты в этих странах и заниматься шпионской деятельностью.

Г-н Броссе несколько лет тому назад завел переписку с проживающим в Санкт-Петербурге царевичем Теймуразом... Он поддерживает также отношения с сыновьями брата последнего царя Имеретии Соломона — Вахтангом и Тариэлом, которые отправились из Константинополя в Париж в поисках убежища, после попытки поднять восстание у себя на родине в 1820 году.

В речах своих г-н Броссе дает заметить, что связи его с имеретинскими князьями не чужды его политике. Он им сообщал на грузинском языке невыгодные для России сведения во время смут у них на родине и, к тому же, как говорят, внушал надежду на то, что им вернут их наследственные поместья благодаря влиянию правительства Франции и тем самым, по-видимому, удержал их в Париже...»

Нессельроде просит Розена не допустить приезда Леваяяна и Броссе в Грузию.

На глаза Мари Броссе строки эти, разумеется, никогда не попадутся. Такого развития своих встреч в отелях «Европа» и «Британник» он, конечно же, и не подозревает. А узнай он об этом, наверное, развел бы руками, не понимая, кто во всей этой истории «сумасшедший»...

Еще одна нить связывает царевича Теймураза и Броссе с Летелье. Знание Летелье Грузии не было поверхностным. Французский дипломат использовал свое пребывание на служебном посту в этой стране, чтобы изучить ее язык. Летелье говорил по-грузински и являлся автором нескольких работ о грузинском языке. В подготовке заговора 1832 года он принимал активное участие. Узнав о том, что заговор раскрыт, он срочно выехал в Москву, а оттуда — на родину, еще до начала расследования. Естественно поэтому, что имя его фигурирует во многих допро-вах заговорщиков или лиц, подозреваемых в причастности к заговору.

Георгий Эристави дает показание:

«...О француззе Летелье мне известно, что после кампании, до моего возвращения в Петербург, он однажды был у царевича Парнаоза, а также — у Теймураза. По моем прибытии в Петербург я впервые увидел его у царевича Парнаоза, который меня представил... Но подобного разговора не было, так как и

Летелье был с женой, и члены семейства царевича там находились. Господин Летелье, узнав о том, что я отправляюсь в Грузию, попросил меня захватить с собой два-три письма к Александру Чавчавадзе. Письма эти я вручил по назначению. Перед отъездом я собирался поехать к Летелье за письмами, Дмитрий Орбелиани попросил меня познакомить его с французом. Когда мы приехали к Летелье, то застали у него какого-то польского чиновника... (рядом якобы из Литвы), который работал в Петербурге в каком-то департаменте и был знаком с покойным царевичем Давидом. Ему перевалило за сорок, росту он был низкого, с седыми волосами и смуглым лицом, по-русски говорил хорошо, а французское произношение его не годилось.

О французском дипломате свидетельствует и упомянутый Дмитрий Орбелиани, подтверждающий обстоятельства своего знакомства с Летелье:

«Когда Георгий Эристави отправлялся в отпуск, накануне его отъезда мы побывали у секретаря консула, француза Летелье, где меня с ним впервые познакомил Георгий. У него находился один поляк, ни имени, ни фамилии которого я не знаю. Это была моя первая встреча с тем поляком. Долго разговаривал с нами Летелье — обращаясь ко мне по-грузински, а к Георгию Эристави — по-французски».

В другом месте Дмитрий Орбелиани заявляет:

«В мае 1832 года Летелье только один раз был у царевича Парнаоза».

Относительно упомянутых писем Александр Чавчавадзе уклончиво заявляет:

«С французом Летелье я познакомился в 1829 году в Тифлисе, ничего не знаю о его участии в заговоре. Виделся я с ним чрезвычайно редко. В 1830 и 1831 годах он несколько раз бывал у меня, показывал мне свои переводы на грузинском диалекте».

Если последнее показание записано правильно, то из него вытекает, что Летелье переводил не только с грузинского на французский, но и с французского на грузинский, что предполагает активное знание чужого языка.

Один из руководителей заговора, Гедеванишвили говорит о том, что Летелье проявил желание встретиться с ним, но что, в

конце концов, знакомство их так и не состоялось. Заявление это звучит малоуправдоподобно и похоже скорее на замечание следов для следствия.

Ко всему этому следует добавить, что Летелье неоднократно виделся в Петербурге с Теймуразом Багратиони и в Париже — с Мари Броссе. Цепь как будто замкнулась. Исходя из характера и убеждений Летелье, легко представить, что и в беседах с этими собеседниками французский дипломат не скрывал своих симпатий по отношению к либеральным движениям в Грузии. Иное дело — какой практический отклик находили его зажигательные речи у французского ориенталиста. Ответ на этот вопрос могли бы дать лишь дополнительные документы. Ясно лишь одно: вся дальнейшая жизнь ученого, как и известные нам его воззрения на политику, подтверждают, что бы ни думали на этот счет граф Нессельроде и барон Розен, действительно серьезный + научный характер интереса Мари Броссе к Грузии.

V

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

СНОВА врата Грузии закрылись перед Мари Броссе. На карту были поставлены годы надежды и труда, бессонные ночи. Во второй раз менять свою профессиональную ориентацию не было ни желания, ни мочи. А продолжать углубленное изучение Грузии на одних только парижских материалах становилось и все более невыносимым, и попросту смехотворным. Не удавалось найти постоянную работу.

Вначале неудачно сложилась личная жизнь. В возрасте двадцати четырех лет, в 1826 году, Мари Броссе вступил в свой первый брак с девушкой, с которой делил надежды и невзгоды своей жизни. Жена вскоре скончалась.

Четыре года спустя, в 1830 году, Броссе женился на Марии-Августе-Виктории Шель, которой суждено будет разделить с ним трудности и успехи всей его последующей жизни и с которой он наконец отправится в загадочную и столь долго замкнутую для него Россию. Еще во Франции Мария-Августа родит ему трех детей: сына Лорана в 1831 году и двух дочерей — Анриетту (в 1832 году) и Марию (в 1834 году).

Постоянно погруженному в свои научные занятия Мари Броссе удастся лишь немного времени уделять семье и детям, но забота о них слышится и в строках его писем, и в ответах друзей.

Ближе всего интересы Мари Броссе и пафос его жизни оказались сыну его Лорану Броссе, будущему российскому дипломату и бережному собирателю и комментатору внушительного научного и эпистолярного наследия своего отца. Понимание и поддержка близких были для Мари Броссе тем неприметным, но весьма существенным подспорьем, которое обеспечивало «тылы» его страстного и напряженного многолетнего научного поиска.

В неприязнительности жены своей Марии-Августы, ее терпении и способности каждый день заново вести борьбу с житейскими невзгодами Броссе черпал силы для новых попыток устроить свою научную карьеру.

Пребывая все эти годы без постоянной работы, Мари Броссе с трудом сводит концы с концами, и растущая молодая семья живет в нужде. В 1831—1833 годах ученый предпринимает несколько попыток найти работу. Он обращается в министерство с просьбой открыть для него кафедру грузинского языка и литературы в Высшей школе восточных языков, недавно основанной при Королевской библиотеке. Школе восточных языков предстоит долгая и все более насыщенная жизнь. Основанная как некий придаток к библиотеке, она вскоре превратится в самостоятельное учебное заведение и положит начало своей собственной, постоянно пополняющейся библиотеке. Каждый год в первые погожие октябрьские дни к угловому зданию на улице Лилля, параллельной набережной Сены, совсем близко от моста, ведущего на противоположном берегу к Лувру, будут сходиться молодые французы, будущие востоковеды. Иные из них откроют для себя грузинский алфавит, неизбежно естретятся в своих занятиях с именем и с трудами Мари Броссе и, быть может, пожалеют о том, что не ему довелось оказаться основателем существующей здесь ныне кафедры грузинского языка и литературы.

В 1832 году Броссе предлагает внести грузиноведение в программу наиболее престижного и одного из старейших учебных заведений свободного профиля — Коллеж де Франс. Вновь поступает отказ. Грузия ничего не говорит ни сердцу, ни воображению ученых мужей, принимающих решение.

В 1833 году Мари Броссе безуспешно предлагает свою кандидатуру в Академию надписей и изящной словесности. Заранее

соглашаясь на малое, в 1834 году он просит место библиотекаря в Парижском университете. В ходатайстве отказано.

Мари Броссе берется за труд наборщика в Королевской типографии, и только после приобретения соответствующей квалификации и стажа он принят, в марте 1835 года, в качестве корректора в типографию Риньу. К часам интенсивных индивидуальных занятий наукой добавляются напряженные часы профессионального чтения, причем небрежное исполнение обязанностей (на что он по своей природной обязательности не способен) чревато угрозой потери и скромного корректорского места, полученного ценою стольких поисков.

Год спустя Мари Броссе сменит одну типографию на другую: Риньу на Крапеле. Здесь как будто предложили немного лучшие условия. Но все равно скромный заработок едва покрывает расходы на еду и квартиру, а времени на научные занятия почти не остается. Продуктивности исследований мешает дневная усталость, голова забита посторонними заботами.

И тем не менее Мари Броссе ни на день не прекращает грузинских разысканий, усилием воли возвращается мысленно к начатому накануне и в тех случаях, когда из-под усталого пера не выходит ни строки, довольствуется обдумыванием того, что он непременно напишет завтра.

Бывают, конечно, минуты обескураженности и отчаяния. Но с первым утренним лучом, при встрече с молочником или консьержкой, при виде безымянных тружеников большого города возрождаются надежда и решимость. И одержимость чудака, избравшего себе диковинное занятие. Люди малознакомые и посторонние, но благосклонно настроенные, попросту руками разводят:

— И как только вы до этого дошли, месье Броссе? Что за мысль — заниматься предметом столь далеким и столь малоизвестным? Право же, ваше прилежание достойно лучшего применения!

В ответ Мари Броссе рассеянно улыбается, бормочет что-то неопределенное:

— Да-да, конечно, вы правы! Но, видите ли, очень увлекательно, ничего не могу поделать с собой!

Мало кого убеждает этот ответ. Немного сутулый удаляющийся силуэт Броссе провожают скептическое покачивание головой и взгляд, в котором смешаны насмешка и жалость.

О, Мари Броссе вовсе нет надобности оборачиваться, чтобы почувствовать, как осиное жало между лопаток, колючесть этого взгляда. Не нужно вслух прозносить то самое словечко (но уже на родном французском), которое в первую минуту недоумения сорвалось с уст грузинских царевичей и которое так и вертится на языке у чистосердечных парижан: незадачливый энтузиаст постоянно слышит вокруг себя непомерно усилившееся эхо этого приговора с отчетливостью звона колоколов Нотр-Дам.

Он все вынесет — и здесь, и позже под защитой академической сени — и незадолго до смерти с гордостью и удовлетворением доверится одному грузинскому другу:

— Грузины весьма ценят мои заслуги в деле изучения их литературы, которая, помимо удовольствия, принесла мне большое счастье. Помню о времени, когда мои соотечественники называли меня безумцем, думая, что грузинская словесность никакого внимания не достойна. Довеюсь мне, с божьей помощью, доказать обратное!

«Доказать обратное! Во что бы то ни стало доказать!» — бубнит про себя типографский рабочий Броссе, и прохожие сторонятся его на узком тротуаре.

VI

ЕГО ВЫСОЧЕСТВО ЦАРЕВИЧ ТЕЙМУРАЗ

ГРУЗИНСКИЕ древности в Париже немногочисленны. Мари Броссе нелегко определить отношение этих обрывочных свидетельств к общей картине грузинской цивилизации. Важно правильно уловить пропорцию явлений, их относительную ценность. При виде рукописной вязи душой овладевает неприятное чувство неуверенности, будто по незнакомой местности ступает человек с завязанными глазами: невысокий пень может показаться ему мощным дубом, а стройный тополь — придорожным столбом.

Ученый ищет корреспондентов среди образованных грузин. На помощь приходит его друг и соотечественник Франсуа Шармуа, академик российской Императорской Академии наук, кото-

рый рекомендует вниманию Мари Броссе царевича Теймураза Багратиони.

Струна сердечной привязанности и душевности очень скоро зазвучала в переписке этих двух людей, никогда не видевших друг друга в глаза и разделенных расстоянием в тысячи верст.

Диковинное дело: грузинские строки, выведенные 30 апреля 1830 года рукой незнакомого француза в Париже, прибыли в Петербург к Теймуразу. Разное повидал на своем веку Теймураз, но такую неожиданность судьба преподносит ему впервые. Царевич вновь пробегает глазами написанное, но поскольку содержание письма ему уже известно, то мысли отвлекаются от слов. Себя он всегда осознавал как частицу бытия и становления родного края. Поэтому непрѣдвиденный отголосок грузинских деяний бальзамом ложится на его сердце, но и болью отдается в рубцах едва заживших ран. Перед мысленным взором проходят прожитые годы. Теймураз вспоминает своего отца, Георгия XII, последнего царя Грузии... «Последнего» — при этом слове бровь царевича насупилась и жесткая складка обозначилась в углу рта. Сорок восьмой год идет царевичу, надломлены его силы и поколеблена вера в исполнение заветных чаяний, но все же не может он смириться с мыслью о том, что не стоять больше трону в стране царя Георгия. Впервые взбунтовался он против этой мысли, когда умер отец, — а он осиротел в восемнадцать лет, едва образовав свой ум под руководством ректора Телавской семинарии Давида Алексишвили (старик еще жив, и о нем упомянет царевич в переписке с новым другом). На мгновение всплыли из дали лет зубцы крепостной стены, возведенной еще при легендарном царе Ираклии. Проходившему вдоль ее каменной кладки подростку крепость внушала ощущение мощи и неприступности. Пришлось, однако, бежать из родного Телави на чужбину, в Иран. Остальное вспоминается с привкусом горького хлеба изгнания.

Переписка Мари Броссе с Теймуразом Багратиони велась на грузинском языке. Сначала осторожно и почтительно, затем все более доверительно и с дружеским теплом. Сближали общие интересы, общая одержимость всем тем, что проливало дополнительный свет на историю Грузии: для одного она была вынужденно покинутой, но мысленно неразлучной родиной, а для второго — все еще не увиденной властительницей помыслов.

Теймураз отвечает своему корреспонденту 18 июля, более чем два с половиной месяца спустя после того дня, когда Мари Броссе написал ему. Такой сравнительно быстрый ритм не всегда сохранялся в переписке: европеец был пунктуален; Теймураз от-

вечал иногда по прошествии нескольких дней, а иногда и по истечении месяцев: по-разному складывались обстоятельства, порою подводило здоровье, нередко особого изучения требовавшиеся задаваемые ученым корреспондентом вопросы. Но, пожалуй, не в его ритме следует искать основную отличительную черту этого общения, а в той глубинной потребности, которую в нем испытывали обе стороны.

Теймураз не скрывает своей радости: ведь он только что получил из рук господина Шармуа письмо, написанное в «увенчанном: мудростью стольном граде Париже».

Буква за буквой расшифровав первые строки и дойдя до этого места, Мари Броссе мысленно улыбнулся и перевел дыхание: «увенчанном мудростью» — ох уж эти восточные формы красноречия!.. Но не только это: со временем Мари Броссе начнет лучше узнавать своего корреспондента и обнаружит в строках и между строк его посланий неодолимую ностальгию по утраянному фамильному трону и болезненную щепетильность по части протокола и традиционно принятых форм обращения к царевичам.

Теймураз взволнован письмом, «написанным на естественном нашем грузинском языке, премного (его) удивившем».

Сообщая свой адрес, он говорит о себе в третьем лице: «У сына царя Грузии, царевича Теймураза имеется свой собственный дом в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, на Девятой линии, вблизи реки Невы, № 81». Надписанный по-французски конверт петербургская почта доставит царевичу на дом и вручит его слуге.

15 декабря 1831 года Теймураз пишет:

«Вот уже некоторое время, как я получил почтенное Ваше письмо, и за столь длительный срок мне не дано было время, чтобы ответить Вам. За это прошу прощения и извинения, ибо различные причины и обстоятельства помешали мне. Посему надеюсь, что Ваше доброе сердце не изменит своей благосклонности ко мне.

Причиной того, что до сих пор не написал я Вам письма, было следующее: во-первых, моя болезнь, вызванная преимущественно печалью по поводу смерти моих близких родственников, что нарушило мое душевное спокойствие и весьма смутило сердце мое. Во-вторых, появление сей страшной смертельной болезни — холеры — и вызванное ею многообразное беспокойство».

Собеседования об эпидемии холеры мрачным фоном просматриваются в нескольких письмах царевича. Его самого с женой карантин застиг в Царском Селе, где отдыхал двор. Царевича и царевну Елену болезнь пощадила, но жертвой ее пала Екатерина, жена брата Теймураза. О ней, о своем брате и об оставшихся без матери племянниках и скорбит Теймураз. Коснулась холера и семьи общего друга Броссе и Теймураза, академика Шармуа, унеся его тещу. В далеком Париже разделяет горести царевича Броссе. Со своей стороны Теймураз радуется тому, что «преодолена болезнь сия в Париже и во Франции» и что друг его «пребывает в мире».

Разглядывает Мари Броссе добротными черными чернилами выведенные буквы, любуется их ломаными, орнаментальными срезами, каллиграфическим почерком и задумывается над риторическими фигурами эпистолярной прозы царевича: неторопливо, весомо и немного грузно дефилируют синонимические обороты, иногда соскальзывающие к тавтологии, — «прошу прощения и извинения», «различные причины и обстоятельства», «в моем летнем доме, иначе говоря — на даче», «спокойствие и беспечность»... Так может писать человек если не беспечный, то обеспеченный, которому досуг следить за своим слогом, человек, исполненный уважения к своей особе и не очень-то легко выдающий глубинную суть своей мысли. «Наверное, — думает Мари Броссе, — превратности судьбы и человеческое коварство больно ранили душу царевича и поневоле выработали в нем постоянную самозащиту и необходимую скрытность». Стремление разобраться в переменчивом мире и методично воздействовать на него выработало в Теймуразе систематичность мышления, от которой он не может отказаться и в частном письме: «во-первых», «во-вторых»... Броссе спохватывается: «Но ведь этим грешу и я! Что поделаешь? Вокруг столько неразработанных и неупорядоченных залежей!» Этой своей слабостью Теймураз неожиданно стал ему по-человечески близок.

Семейное горе и радости друга Теймураз принимает близко к сердцу, откликаясь на постигшее Мари Броссе несчастье — кончину его жены: «В майском письме Вы пишете мне о несчастье, опечалившем Ваших домочадцев, по поводу которого я сокрушаюсь и молю Бога, чтобы все печали Ваши сменились радостью. И поелику печаль завершается радостью, а за несчастьем следует счастье, посему надеюсь, что шестивие времени ознаменуется для Вас счастьем, здоровьем и радостью».

Связующим звеном между французом и грузином оказались и царевичи Ваханг и Таризл, о встрече с которыми Мари Брос-

се сообщил Теймуразу, скромно утаив комическую сцену. Теймураз тотчас же откликнулся (речь, несомненно, идет о них, хотя из цензурных предосторожностей царевич не упоминает имен Вахтанга и Тариела): «Покорнейше прошу Вас передать братский привет моим родичам, прибывшим в Ваши края и о которых Вы мне пишете, и сообщить мне об их житье-бытье, о том, как их принимают и как они ведут себя. Пусть они постараются показать тамошнему обществу хорошее и честное поведение и пусть проявят прилежание как в изучении языка, так и других наук, которые образуют ум, пусть усвоят военное искусство и гражданские обычаи, все то, что приличествует сыновьям великого человека».

Понимает Теймураз горечь и неприкаянность племянников царя имеретинского Соломона II (ведь и о нем нашептывает злая судьба: «последний»...), и выпавшее на их долю тяжкое бремя скитаний на чужбине. Будто они — подверженная испытаниям частица его самого, Теймураза. Тем ответственнее их положение на виду у просвещенной Европы, в увенчанном мудростью Париже, где по ним будут судить о Грузии. Тем настоятельнее их долг: послужить просвещению родной земли и способствовать на чужбине вящей ее славе.

Галльской смекалкой оценивает Мари Броссе и забавную сторону дела, которую он приемлет не без удовольствия: он, сторонний француз, служит посредником между отпрысками двух царских фамилий Грузии, страны, о самом существовании которой лет десять тому назад он и не подозревал! Но, конечно же, француз недооценивает пройденный им путь: он уже незаметно перешел за ту черту, где перестают быть «сторонним», а в предстоящие годы (возможно ли это?) он и сам, словно сменив Теймураза, будет красноречиво призывать грузин ревностно служить выявлению и изучению культурного наследия их родины.

Для царевича неожиданным оказалось то, что Мари Броссе обнаружил в Париже знатного французского, по материнской линии нисходящего от самого Вахтанга V и, следовательно, связанного родственными узами с ним, Теймуразом: «До сих пор, — не скрывает он своего удивления, — не знали мы, что месье конт де Сен-Перье, представитель дворянской фамилии Франции, является нашим родственником по царю Вахтангу, и когда об этом узнали мы от Вас, то весьма тому возрадовались. Покорнейше прошу Вас, чтобы Вы взяли на себя беспокойство навестить его, передать от меня привет и мое желание познакомиться с ним.

Весьма желаю я также направить ему письмо, с тем чтобы представиться ему и просить его благосклонности, поскольку он является нашим родственником. А поступлю я так, как вы мне посоветуете: ежели будет на то Ваш совет, напишу ему по-грузински, и Вы ему переведете, в противном же случае — по-французски. Напишите мне их титул по-французски и по-грузински».

Речь шла о графе Алекси де Сен-При, праправнучке грузинского царя Вахтанга V и сыне известного французского дипломата. Как драгоценную реликвию хранил молодой граф (ко времени знакомства с Броссе ему было 27 лет) прекрасно исполненный в цвете рисунок герба династии Багратионов. Броссе опубликовал описание рисунка, на котором он с удивлением обнаружил лилию — символ королевской власти во Франции.

Состоялось ли эпистолярное (или даже личное) знакомство французского и грузинского потомков Багратионов? Следов его мы еще не обнаружили.

Что до Броссе, то описание герба из коллекции графа де Сен-При явилось для него началом будущего паломничества в южную Грузию, к колыбели Багратионов.

Степень взаимного доверия друзей ощутимо вырастает. 18 июля 1832 года, после долгого перерыва отвечая на три письма Броссе, Теймураз превозносит истину и дружбу: «Так в чем же проявляется или в каких деяниях выражается и утверждается непоколебимая дружба, если не в выявлении истины? Признаю это и ставлю себе в вину то, что до сих пор запоздал с написанием письма к тебе, но надеюсь на тебя, как на преданного и любящего друга (среди наших стихотворцев известно изречение Шота Руставели: «Порицаемая неторопливость лучше хваленой поспешности»). Уповаю на то, что ты не проявишь поспешности и не разгневаешься на меня, но что Броссет вечно пребудет для меня тем, кем он был, и тем, кем он поныне является».

Как на одну из причин опоздания с ответом Теймураз ссылается на болезнь, европейцами именуемую ипохондрией, азиатами — тоской, а грузинами — тревогой. Извиняясь за задержку, царевич заключает по-христиански: «...поскольку я сам признаю свою вину, то на этот счет Священное Писание велит нам: «Сему суждено было произойти и подлежит оно прощению».

Постепенно содержание писем Мари Броссе и Теймураза расширяется и на их «домочадцев». В письмах Теймураза появляются приветы, которые его супруга передает госпоже Броссе. Перо Теймураза выводит обычно одну и ту же формулу, но в ней любопытны и порою красноречивы малейшие нюансы и отклоне-

ния: «Супруга моя, — пишет царевич, — с большой любовью передает привет Вашей супруге, а также Вам и премного благодарна Вам за привет».

Из этого первого упоминания о супругах как будто видно, что инициатива передачи приветов им принадлежит галантному французу. Теймураз поддался искусству демократической простоты письма Броссе и ненароком опустил аристократический титул своей супруги: пробел этот он с лихвой восполнит в других случаях. Наиболее распространена в его письмах форма: «Моя супруга, царская невестка, с любовью и уважением передает привет Вашей супруге». Но, пожалуй, с наибольшей полнотой супружеские титулы развернутся в пасхальном обращении: «Ея Просвещенность, царская невестка, супруга моя поздравляет госпожу Вашу супругу и Вас с праздником Воскресения Христова и передает Вам нижайший поклон».

15 февраля 1833 года Теймураз просит Броссе передать «привет с большой любовью господину Летелье и его супруге» и тут же осведомляется: «Напечатал ли он свой словарь или еще нет и как он живет в мире?»

Это — единственное упоминание беспокойного дипломата среди известных нам писем царевича Теймураза. Оно свидетельствует о его дружеском отношении к французской чете. На следующий год после раскрытия грузинского заговора, причастность к которому французского дипломата не могла быть тайной для Теймураза, столь теплое упоминание Летелье граничит с бравадой (кстати, по достоинству оцененной русской тайной полицией). Очевидно также внимание Теймураза к грузиноведческим работам Летелье. И, наконец, подтверждается существование хороших взаимоотношений Мари Броссе с Летелье в то время, когда он во второй раз ходатайствует о приезде в Россию. О последствиях этого обстоятельства для планов Броссе мы уже знаем.

Хлопотным делом оказалось для Мари Броссе овладение тонкостями эпистолярного этикета, а Теймураз не был склонен шутить такими вещами. В среде ученых и типографских рабочих, в которой в основном приходилось вращаться Броссе, с этикетом обстоило куда проще: положение и уважение зависели от труда, приходилось ли трудиться головой или руками. Дни Мари Броссе проходили вдали и от Петергофа, и от Версаля. Но когда он обращает на это внимание Теймураза, тот ретируется под защиту христианского смирения (письмо написано 16 ноября 1834 года, переписка длится уже без малого четыре года, а та-

кое элементарное понятие, как форма обращения к корреспонденту, все еще не выяснено): «...Вы пишете: «Я — иностранец и человек низкого происхождения, непривычный к общению с людьми знатными». Я хоть и являюсь отпрыском знатной семьи, но поскольку намерения мои стремятся ввысь, то смею доложить Вам, что как бы я ни был возвышен в этом мире, я являюсь человеком и ничем более. Не чуждо мне Священное Писание и с юных лет моих воспитач я на том, чему учат нас, никчемных, в писаниях своих святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов (Теймураз имеет в виду Григория Назианзина), Иоанн Златоуст и прочие древние и новые наставники и светила святой церкви».

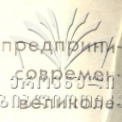
Однако смирение смирением, а земные почести почестями. Диплом Азиатского общества, в члены которого Теймураз Багратиони, первый из грузин, был принят по ходатайству и предстательству Броссе, принес царевичу вместе с радостью и некоторую досаду, которой он подробнейшим образом делится со своим другом. Мари Броссе не может сдержать внутреннего восторга при виде того, с какой естественностью входит царевич в свою новую роль, с первых же слов приручая ученое собрание местоимением «наше». Он продолжает читать, и нахлынувшее было недоумение сменяется благодушным пониманием. Получив из Парижа диплом Азиатского общества, Теймураз отослал его назад из-за отсутствия в тексте его титула. Диплом переписан и вновь возвращен царевичу. Но вот беда: титул и на этот раз выписан не полностью, опущены слова: «царский сын». По этому поводу Теймураз пускается в подробное разъяснение: «Тех из нас, кто сегодня находится под властью великого императора России и кто является подлинными царскими детьми, тех и прежде, и нынче, и вечно величать будут со всеми нашими царскими титулами император и императрица в своих рескриптах (у Теймураза — «монискрипты»), здешние власти, министры и большие люди, равно как и знатные и малые. Отец мой, царь Георгий Тринадцатый¹, был свободным монархом, владевшим Картли и Кахетией и другими землями и, пока он был жив, свободно управлял своими царствами. Что до его детей и братьев, приехавших сюда, в Россию, под покровительство императора, то и прежде утвердил благословенный покойный император Александр, а также император Николай, что те, кто являются сыновьями царя

¹ Отца царевича Теймураза, Георгия XII, иногда называли Георгием XIII. Происходило это оттого, что его предшественник дважды взошедший на престол, именовался одновременно Георгием XI и Георгием XII (Прим. автора).

Грузии, его невестками и дочерьми, которые подлинно являются детьми царевыми, а не отдаленными родственниками, за теми всегда и навечно будет сохранен их титул. Согласно указу направленному в Сенат в прошлом году, 25 апреля 1833 года сыновья, невестки и дочери царей Верхней Грузии и Имеретии, как прежде, так и в будущем навечно сохраняют имя детей царевых, соответствующее уважение и титул. А те, кто не являются царскими детьми того же дома, те, чьими отцами не были цари, но — царские сыновья, иначе говоря — внуки царей и их родственники, не должны писаться как царевичи, но те, кто являются действительными царскими детьми и кто днесь находятся под нашим покровительством, всегда будут величаться царевичами и сохраняют свой титул».

Как крутой подъем — с передышками и неоднократными возвратами — преодолел Броссе тяжеловесную линию развития мысли царевича. Какое страстное, упоенное и неустанное повторение на все лады в сущности одной и той же фразы! Как заклинание, возвращается слово «подлинный»: «подлинный сын», «подлинная дочь», «подлинная невестка»... И как редкий гость, как порыв свежего ветра, дважды вторгается слово «свободный», «свободно». Мари Броссе со всей очевидностью представляется: за малейшее слово в своем титуле Теймураз готов бороться с таким же упорством, с каким сражались за каждую пядь родной земли его предки. А если вдуматься, то не о представительстве ли той же земли идет речь для царевича? Арьергардные стычки! Ведь смирился же заранее Теймураз (как смирились и другие «царевы сыновья, невестки и дочери») с тем, что дети его уже не будут носить его титулов! Вслед за поколением «последних царей» пришло поколение «последних царевичей». Так что дети Мари Броссе смогут переписываться с племянниками Теймураза уже безо всяких титулов: горькое утешение... Но коль так, чего стоит — с некоторым философским отстранением — упорная борьба за сохранение обреченных крупниц власти и величия? Не издевкой ли звучат слова «вечно величать», «навечно будет сохранен титул» и прочее, когда речь идет всего лишь об эфемерном пространстве одной жизни? Конечно же, Мари Броссе сочувствует Теймуразу, но не до конца понимает его.

Однако Теймураз честолюбив. Он и в будущем не исключает для себя возможности получения дипломов и прочих европейских почестей и в предвидении такого развития событий



не желает быть застигнутым врасплох, но, напротив, предпринимает все необходимое с тем, чтобы предстать перед современниками и потомством в праздничном блеске своего величия и с полным набором законно унаследованных — подлинных — регалий. Он методично будет разъяснять своему французскому корреспонденту разницу между дворянским титулом «превосходительство» и титулами «сиятельство», «величество», «просвещеннейший», с которыми обращаются к царским детям. Для сравнения Теймураз добавляет, что азнаурам говорят «ваше благородие», купцам — «почтенный».

От внимания Мари Броссе не ускользает еще одна нить преемственности, связующая в грузинском сознании царей с их детьми и закрепленная самими языковыми формами: титулом «величество» нарекают и царей, и царевичей... Знакомому с французским — и прочими европейскими — этикетами, где подобного смешения нет и словесные формулы тщательно разграничены, Мари Броссе это внове. Он отмечает это про себя, в уме: «Пригодится в дальнейшем при наблюдениях над особенностями национального характера грузин». Осознает Броссе и возрастающую (законно возрастающую!) к нему требовательность со стороны своего корреспондента: прошла первая эйфория, когда сам факт выведения рукой иностранца грузинских букв умилял сердце патриота, теперь от Броссе требуется все большая точность в использовании слов и понятий чужого языка, в стихию которого проник он вовсе не для того, чтобы остановиться, чуть переступив порог. Мари Броссе принимает честный вызов: он будет совершенствоваться, прислушиваться, присматриваться, вникать.

И еще одна подробность проливает неожиданный свет на характер Теймураза: человек долга, столь неукоснительно выполнявший доставшиеся ему от истории обязанности, он, может быть, поневоле и в самом титуле «просвещеннейший» слышал для себя призыв и поощрение в своих ученых занятиях?

Мари Броссе не совсем уверен в том, правильно ли он про себя осмысливает титулы «величество» и «высочество». Трудность для его картезианского восприятия заключается в том, что титулы эти, по словам Теймураза, должны быть одинаково применимы и к царской особе, и к царевичу. Но можно ли сказать царю: «Ваше высочество»? И не чрезмерно ли для царевича «Ваше величество»? Из этого затруднения Броссе не выйти. Но он не проявляет нетерпения: иные края, иные обычаи. Наверное, и мышление иное. Да разве только одна эта головоломка? Их сколько угодно! Взять хотя бы постоянное качание маятника меж-

ду «вы» и «ты» в обращении к нему царевича: даже одна фраза может начинаться с «ты» и кончаться на «вы» (на эту особенность мышления грузин Броссе, впрочем, уже обратил внимание, читая «Витязя в барсовой шкуре», где сходным образом говорят коронованные особы. Причем сколько-нибудь убедительную закономерность в этих переходах ему, парижскому «грузиноведу», уловить все еще не удастся. Но терпение, терпение! Все придет «в свое время», как говорит друг Теймураз. Восток учит мудрости, а мудрость нетороплива.

Переписка друзей — по сравнению с их профессиональными интересами и честолюбивыми замыслами — скупо и отрывочно отражает течение их жизни, заботы семейные. 19 мая 1835 года Теймураз одной-единственной фразой спрашивает Броссе: «Есть ли у Вас ребенок или еще нет?»

Да, ребенок, родившийся в 1834 году, вступил уже во второе полугодие своей жизни. То была дочь Мария, воплощение долгожданных чаяний бабушки и... тезка своего отца.

Есть новшества и у Теймураза, временно переставшего быть владельцем собственного дома, но не изменившего Васильевскому острову, к которому он успел привязаться. Он пишет, что продал свой дом и собирается купить другой, получше. А пока что — снимает дом Зандавуса под № 15 на Третьей линии Васильевского острова.

Если бы только Мари Броссе знал, что скрывается за этим мнимым преуспеянием! Купленный в 1813 году дом на Девятой линии Васильевского острова сын царя Георгия вынужден был в 1824 году заложить в банке сроком на двенадцать лет. Срок истекал, а с долгом расплатиться было не из чего. Отсюда и красивая версия о призрачном «лучшем доме»... За твердость в испытании и гордое умолчание еще больше полюбил бы незнакомого друга Броссе. И понял бы, узнав, каким тяжелым бременем ложились на финансовые дела царевича расходы по приобретению грузинских рукописей. Перед этой их общей страстью блекли фамильные титулы и стусевывались различия в социальной иерархии. Перед всплывшими из небытия и еще не поведавшими своей тайны почтенными манускриптами грузинский царевич и парижский ориенталист были равны как братья.

Из беглых упоминаний о погоде, о труде и об отдыхе Мари Броссе пытается представить себе быт далекой северной столицы, о которой он читал и слышал, что архитектурным своим обликом она как близнец родственна европейским городам, но

весьма своеобразна природой своей и порою загадочна непредсказуемым поведением своих коренных обитателей. Ближе становятся для Мари Броссе эти петербургские и околопетербургские зарисовки и благодаря присутствию в них давнего друга Франсуа Шармуа.

Теймураз часто видится с Шармуа. Разъезжаются они только летом, когда царевич, вместе с русским царем и его свитой, отправляется в Петергоф, а академик — в свой летний дом с огородом, неподалеку от столицы. Встречаясь, Теймураз и Шармуа подолгу беседуют о Броссе. Шармуа разъясняет Теймуразу, что «поскольку Азиатским обществом ведал министр, а он сменился, то поэтому задержался и приезд сюда господина Броссета».

Франсуа Шармуа (в России его будут называть Франц Францевич, германизируя его имя, быть может потому, что так легче произнести отчество) родился в беспокойный 1793 год в Эльзасе, учился на юридическом факультете в Париже, одновременно изучая восточные языки у Сильвестра де Саси. С 1 сентября 1817 года он уже профессор арабского и персидского языков в Петербурге и член Иностранной коллегии. Позже он преподает персидский в Петербургском университете, сотрудничает в Азиатском департаменте министерства иностранных дел, избирается сначала членом-корреспондентом, а затем — почетным членом Академии наук. Одним словом, был он человеком принятым в России, к мнению которого прислушивались. Поэтому его посредничество, несомненно, сыграло немаловажную роль в том, что Броссе удалось приехать в Россию и начать там службу. Он же, мы помним, заочно представил друг другу Мари Броссе и Теймураза Багратиони. В 1835 году Шармуа оставил службу, покинул Россию и уехал во Францию, где скончался в 1865 году.

В переписке Теймураза с Мари Броссе имя их общего друга упоминается с самого начала, поскольку первое письмо своего нового корреспондента царевич получил «из рук господина Шармуа». В сердце грузинского царевича эльзасцу отводится роль alter ego. Теймураз порою просит Броссе прислать письмо либо «на имя месье Шармуа, либо на мое имя». Шармуа разделяет и томление Теймураза по поводу откладывающегося приезда в Петербург Мари Броссе. А когда 5 сентября 1835 года «дражайший... сердечный друг, мудрый месье Шармуа» покинул Петербург, Теймураз «почти осиротел сердцем».

С отъездом Франсуа Шармуа из России не прекратились дружеские и деловые отношения с ним Теймураза. Ему, в частности, доверит царевич вексель и деньги, предназначенные для

сплаты заказанного в Париже грузинского шрифта. Теймураз и Шармуа продолжают поддерживать деловой эпистолярный контакт.



26 октября 1836 года Теймураз просит Броссе написать ему о «месье Шармуа» и, сам подверженный недугам, выражает заботу о его здоровье: «Он тоже был болен, и, да хранит его Бог, я очень беспокоюсь за него».

12 марта 1837 года, говоря о приготовленных для отправки в Париж книгах, Теймураз сетует: «Сундук с моими книгами давно готов. Что поделаешь, мне очень недостает месье Шармуа. Никого не могу найти, с кем бы выслать их, каждый день ищу путника».

Почерк Шармуа — не из легких: он напоминает переплетение арабесок, составленных убористо и причудливо. Но ведь приводимое ниже письмо пишет человек немолодой, одолеваемый различными недугами, которому рука отказывается повиноваться с прежней гибкостью. Пишет он соотечественнику и другу, который, в случае необходимости, угадает то, чего не сможет вычитать. Встающая из письма картина малобутешительна. Письмо несомненно опечалило бы царевича Теймураза, попадись оно ему на глаза. А следующие строки не могли бы не тронуть его: «Поскольку Вы, — пишет Шармуа Мари Броссе, — весьма дорожите всем тем, что поступает к Вам от доброго князя Теймураза, я предпочел направить Вам прилагаемый при сем урожай. Этот добрый князь поистине предан Вам душой и сердцем...»

Под «урожаем» Шармуа, несомненно, имеет в виду одно из тех исследований, которые Теймураз регулярно посылал Броссе в Париж. Шармуа высказывает сожаление по поводу того, что он не может прислать Броссе нужную ему копию грузинской хроники: «Сделать это невозможно, так как мы не знаем никого, кто сумел бы снять копию; здесь очень мало образованных грузин, а если бы таковой нашелся, князь Теймураз несомненно назвал бы Вам его...»

Шармуа с интересом следит за грузиноведческими исследованиями Мари Броссе: «От всего сердца желаю скорейшего выхода из Королевской типографии двух Ваших интересных трудов; то будет два сокровища, которыми Вы обогатите грузиноведческую литературу: Ваша грамматика, думается мне, найдет любителей в России».

В самом деле, «Грузинская грамматика», вышедшая в свет в 1834 году, постепенно завоевала авторитет даже среди грузинских ученых. С примерами ее плодотворного воздействия встретимся не раз.

В своих письмах к Броссе Теймураз упоминает и Эжена Бюрнуфа, просит засвидетельствовать ему свое почтение и передать привет. Несколькоими письмами Теймураз обменялся и с самим Бюрнуфом. Незабываемым остался для Эжена Бюрнуфа последний жест Сен-Мартена, на смертном одре вручившего ему грузиноведческую рукопись Броссе. С того дня незнакомая Грузия стала для Бюрнуфа необъяснимо близка.

28 февраля 1836 года Теймураз пишет Мари Броссе: «Господину Бурнофу, прошу тебя, передай мой привет с большой любовью и уважением. Весьма я ему благодарен: письмо он написал мне такое, что наполнил мое сердце чистой любовью. Письмо его положил я как сокровище в золотую шкатулку, а слова, написанные в том письме, храню я в сокровищнице моего сердца».

И в дальнейшем Теймураз называет Бюрнуфа «вернейшим другом» и просит Броссе: «Передай от меня господину Бурнофу привет с братской и дружеской любовью. Назавно я пребываю в большом уважении по отношению к этому мудрому человеку и постоянно думаю о нем с большой любовью».

Подобно Шармуа, Эжен Бюрнуф является доверенным лицом Теймураза в его денежных расчетах по заказанному грузинскому шрифту. Дружеское отношение к Бюрнуфу осталось у царевича на всю жизнь. 10 августа 1845 года, незадолго до своей смерти, Теймураз пишет Броссе: «Надеюсь, что господин Бурноф, с Божьей помощью, пребывает в мире...»

Упоминается в письмах Теймураза к Броссе и «месье Фрейн».

Христиан Френ, академик, ориенталист, специалист по мусульманской нумизматике, родился в 1782 году в Германии, в городе Росток. Там же окончил университет. С 1807 года Френ начинает работать в России, на кафедре восточных языков Казанского университета. Он изучил и опубликовал надписи на восточных монетах. Скончался в Петербурге в 1851 году.

В своих разысканиях Христиан Френ коснулся и грузинских реалий (на этой основе развернется его научная переписка с Мари Броссе). Френ перевел на французский арабскую надпись на двери Гелатского монастыря. Его перевод Броссе снабдил своими примечаниями и в 1836 году опубликовал в «Журнале азиатик».

В сентябре 1835 года Теймураз прочитал и перевел Френу надпись на монете, исполненную буквами хуцури. А 9 января 1837 года «месяц Фрейн» пришел на семейный праздник к Теймуразу. Они вновь много говорили относительно приезда Мари Броссе.

Броссе интенсифицирует свои демарши, чтобы поехать в Россию. Со своей стороны, друзья в Петербурге стараются ускорить его приезд. Однако положительное решение вопроса по-прежнему оттягивается, вызывая нетерпение и у Броссе, и у Теймураза. Нарастающей волной возвращается в их переписке этот вопрос. С нетерпением ждет друга царевич. «Вот бы нам порадоваться, — восклицает он, — что узрим друг друга!»

Теймураз уже в мечтах представляет себе все те добрые дела, которые ждут Броссе на месте: «По прошествии некоторого времени здесь Вы сможете хорошо совершенствоваться в грузинской речи, провести некоторое время и в Грузии, а затем дай Бог, чтобы в великолепном Париже — по примеру того как существуют учебные заведения с преподаванием других языков — Вы смогли открыть первое учебное заведение с преподаванием грузинского языка и быть в нем первым наставником и первым профессором».

Теймураз читает в сердце Мари Броссе! Увы, какой болью отдаются в нем эти слова! Если бы только грузинский друг знал, что все это в свое время уже попытался сделать Броссе, но безуспешно! Льстят самолюбию француза, но и подтверждают подлинное положение вещей столько раз повторенные слова «первый», «впервые». Увеличатся ли в глазах соотечественников реальные шансы молодого ученого на успех после поездки в Россию и Грузию? Вряд ли. Во всяком случае Мари Броссе в это не верит. Он считает, что достаточно времени и энергии ушло на сражение с ветряными мельницами и что пора остающиеся силы использовать с большим благоразумием и пользой для дела. Броссе возвращается к письму: «И изучали бы французские люди грузинский наряду с другими языками, поскольку, смею заверить Ваш ум, по-грузински возможно прочитать такие древние писания по истории либо по другим отраслям мудрости, которые Европа могла бы позаимствовать у нас».

Конечно. Мари Броссе все более склоняется к этому. Но и науке, и Европе нужны факты: много достоверных и разнообразных фактов. Именно с этой надеждой стремится ученый на берега Невы. Разница между ним и царевичем, пожалуй, та, что

Мари Броссе меньше верит в быстрый и наглядный успех. Но спускать руки он не собирается: Броссе работает с дальним прицелом, все более убеждаясь в правильности избранного пути.

Теймураз понимает состояние своего корреспондента, беспокоится по поводу того, что предприятие, в котором Мари Броссе помогали герцог де Броли (в тексте — «Броглио-дукс») и Гизо, наталкивается на препятствия. Горячую молитву возносит Теймураз за всех тех, кто помогает его другу: «О, Господи, перед тобою произнесу хвалу добрым сим мужам, к которым испытываю благодарность на вершинах души моей».

Делится с Мари Броссе Теймураз и своим пространном плане привлечения европейцев (и их меценатов) для разностороннего изучения Кавказа: «Пришла мне на ум одна мысль и я написал тебе. Не может быть, чтобы не нашлись какие-нибудь богатые люди и дети богатых людей, которые известны были бы в Вашей стране своим прилежанием и которые хотели бы потратиться не только на приобретение старинных грузинских книг и на розыски их, но решили бы посвятить себя полному исследованию Кавказа, его гор — от основания до вершин, от одной вершины к другой, и разысканию там множества древних и исключительных вещей».

Ежели возникнет такое желание, то следует составить в этих целях экспедицию из означенных богатых и исключительных людей. Телом они должны быть здоровы, а не усталы и немощны. Должны быть среди них люди, умеющие чертить и рисовать, правительство Ваше должно одобрить сей выбор и оказать им свою помощь. Должны они известить об этом русское правительство, ибо без этого невозможно. Тогда, возможно, и среди русских найдутся люди богатые, к которым присоединятся избранные Ваши люди, возьмут они себе в предводители господина Броссета и обеспечат его всем необходимым (ибо у Броссета нет в своем распоряжении денег и вещей).

Отсюда тоже, по предписанию правительства, выделяют одного человека в проводники, ибо края сии находятся под ихним правлением. Без них — невозможно (на то следует заручиться их согласием и желанием).

Если это так произойдет, тогда более всего в выигрыше окажется Броссет. Поистине говорю это. Если дело это состоится, то когда участники экспедиции придут сюда, я представлю им одного человека, который хорошо знает весь Кавказ и все край иверские. Он проведет их к таким чудесам и покажет такие древности, о которых Европа никогда не слышала и ничего подобно-

го не видела. А ежели тот человек не покажет им всего, то почитай, что в путь отправились слепые и идут на ощупь.

У этого человека тоже нет своего состояния. Расходы придется разделить членам экспедиции и взять его с собой за свой счет.

Ты можешь сказать где следует обо всем этом. Быть может, найдутся люди благосклонные, и дело бы тогда состоялось.

Во всем остальном Вы сами лучше знаете положение вещей в Вашей стране, но моим коротким умом так представляется мне, что во всех странах в нынешнее время происходят большие изменения и что почти утеряно то рвение, которое было в прошлые времена».

Слова царевича пронизаны пафосом знания, энциклопедического освоения богатств культуры, искусства, изучения природных ресурсов Кавказа. Ссылаясь на рвение прошлого, Теймураз, возможно, думает об оставшемся позади веке Просвещения, к задачам которого грузинский царевич всю жизнь (и в практической своей деятельности, и в сочинениях своих) чувствовал себя причастным.

19 мая 1835 года Теймураз получает наконец долгожданное письмо Мари Броссе: «Оно принесло мне такую радость, что большую и представить себе невозможно, ибо так много времени прошло уже без того, чтобы Вы написали мне. Посему вдвойне пребывал я в сомнении и тоске: во-первых, не было у меня более надежды на то, что вовеки получу от тебя письмо, и это повергало меня в большую грусть. Во-вторых, испытывал я сомнение и думал: может, господин Броссет сердится на меня и поэтому не пишет мне более? Эта грусть оказалась более легкой, так как для нее нетрудно было найти лекарство. У нас даже существует на этот счет поговорка: «И меж друзьями не без малого раздора».

Мари Броссе все не приезжает на берега Невы и тем самым невольно продлевает ожидание друзей: «Благодарю Господа за то, что пребываешь ты в мире и во здравии, — пишет ему Теймураз. — Свидетелем тому мудрый друг мой месье Шармуа, который сказал мне и сам в то верил неукоснительно, что вскоре придете Вы сюда, в Петербург, равно и месье Фрейн возвестил мне Ваше скорое прибытие, но потеряли мы терпение от ожидания, а ты так и не приехал. Затем решил я написать тебе».

Чтобы обмануть свое ожидание, Теймураз выдумывает возможные препятствия на пути друга, вновь заботится о возможном проводнике для Броссе во время его предполагаемого путешествия по Грузии: «...еще раз отодвинулась возможность увидеть тебя. Теперь же убедил я свое сердце в том, что Вы любите теплую погоду и избегаете холодного воздуха. Но в Грузии очень тепло. Здесь подыскал я для Вас хорошего проводника — моего родного племянника (сына моей сестры), наследника княжества нашей нижней Грузии — Мингрелии, сына тавада Дадиани. Он прекрасен собой, превосходно воспитан, еще молод: ему будет лет двадцать семь. Он очень любит мудрость, знает хорошо языки — русский, немного французский. Он умен, и сердце у него весьма доброе.

Всем сердцем желал я, чтобы Вы... смогли отправиться в путь в его сопровождении. Но вот уже месяц как он вернулся в Грузию».

Теймураз, должно быть, имеет в виду Григола, брата Давида Дадиани (последний окажет Мари Броссе радушный прием во время его путешествия по Грузии). Но в таком случае Теймураз несколько старит наследника мингрельского княжества: ко времени написания письма Григолу Дадиани идет всего лишь двадцать первый год.

Проходит время, пролетают годы, а Теймураз по-прежнему кручинится по поводу того, что им с другом так и не удалось увидеться:

«Спрашиваете Вы меня о нашем житье-бытье: живем мы в мире и без горя, только печалит меня то, что лицом к лицу мы так до сих пор и не увиделись, что столько уже лет знаем мы друг друга по одним лишь письмам, и так и не привелось нам встретиться лицом к лицу. Ох! Да будут прокляты превратности мира сего, поистине причиняющие боль моему сердцу. О твоём желании увидеть меня узнал я из твоего письма... Что поделаешь? Древним мудрецом Симонидом сказано: «Не желай ничего, кроме терпения». И новые писания, то есть Евангелие, Священное Писание, божественные письма, мудрые и духовные, во множестве являют нам примеры сего. Однако думается мне, что существуют они для полного утешения людей и для того, чтобы жили они спокойно в мире этом...

Но царственный дух человека, равно как и сердце его, во всем повелевает остальными волеизъявлениями его и тем самым полностью может изменить направление его желаний. Что поделаешь, на время отложим намерения наши».

Переписка Мари Броссе с Теймуразом Багратони готовит почву для научных разысканий обоих корреспондентов. В седьмой главе, «Наставления мастера», Теймураз знакомит Мари Броссе со своими работами — жизнеописанием своего брата царевича Давида, историей Грузии; комментирует для французского друга Руставели. Мари Броссе переводит труды Теймураза на французский и печатает их в «Журналь азиатик», использует собранные сведения для своих исследований.

Глава восьмая восстанавливает историю перевода Мари Броссе и издания в Париже грузинского прозаического произведения «Мириани».

Перед отъездом в Россию Мари Броссе доводит до конца задуманное грузинским царевичем важное начинание.

Продолжение следует

ХРОНИКА

ЮБИЛЕЮ К. ГАМСАХУРДИА ПОСВЯЩАЕТСЯ

В ЭТОМ году исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося грузинского писателя Константинэ Гамсахурдиа. Создана республиканская юбилейная комиссия, которую возглавляет секретарь ЦК КП Грузии Г. Енукидзе.

Состоялось первое заседание юбилейной комиссии. Принято решение в мае 1983 года провести в Тбилисском государственном театре оперы и балета им. З. Палиашвили юбилейный вечер, а также объединенную научную сессию Союза писателей Грузии, Института истории грузинской литературы имени Ш. Руставели, Академии наук республики и Тбилисского государственного университета.

В дни юбилея в театрах и кино состоится показ спек-

таклей и фильмов, созданных по произведениям К. Гамсахурдиа. В Тбилиси будут открыты дом-музей писателя и памятник ему. Большие торжества состоятся на родине писателя — в Абашском районе Грузии.

На заседании выступили секретарь ЦК КП Грузии Г. Енукидзе, заведующий отделом культуры ЦК КП Грузии Н. Джанберидзе, председатель правления СП республики Н. Думбадзе, председатель Госкомиздата Грузии Э. Маградзе, директор издательства «Сабчота Сакартвело» Г. Панджикидзе, писатель Р. Джапаридзе, председатель правления Союза художников Грузии Э. Амашукели, секретари правления Союза писателей Грузии Г. Цицишвили, Дж. Чарквиани, директор Института истории грузинской литературы имени Ш. Руставели А. Барамидзе и другие.

Владимир ОГНЕВ

СНЕГ И ПЧЕЛЫ

●

О ПОЭЗИИ РЕВАЗА
МАРГИАНИ

●

МОЕЙ мечтой было подняться в сванам и хевсурам?

И вот я поднялся туда, в сванское село Мулахи, по ступеням строк Реваза Маргиани, красивого человека, в глазах которого светится золото летних пчел, а голова подобна снежной вершине.

Я не очень люблю эффектные сравнения. И, честное слово, не стал бы начинать разговор о стихах Маргиани с чего-то внешнего. Но сами стихи подтолкнули меня: образы снега и пчел, злого и прекрасного мира — яростного в своих противоречиях — диктовали мне строки-символы...

Вы только полистайте первые книги его стихов!.. Вот герой Маргиани тоскует о материнском доме в далекой стороне, на большой войне:

Метет снегопад. Словно
дым очага,
туманы клубятся
в долине.
Твоей сединой
отливают снега
в сверкающей
месячной сини...

(Перевод П. Шубина)

Вот снова:

Кавкасионны горы белые —
извечный снег. Извечный лед.



И так всегда:

От векового снега бел,
я девять гор преодолел
и голос матери услышал.

...на тропах снежных стерся след...

Кто сказал, что в январе зерно
Спит под снегом...

Снега под солнцем и туманы мутные...
Словно в сене,

ты в снегу, как в стогу...

...на яблонях иней,

на яблонях снег.

Снег и снег на чужбине,

снег ветрами вздут.

Я на этом снегу не оставлю и следа.

Если взяться выписать все эти сравнения со снегом, льдом, туманами, затягивающими ущелья и пропасти, холмом, белым мраком, снежными вершинами, не хватило бы времени на рассказ о самой поэзии Маргиани. Да и что тут удивительного, впрочем? Родился поэт в местах, где белоглавая Ушба и такой же белый Тетнульд виделись ему из окна сванской башни так же часто, как и крепости и башни, окружавшие мальчика густым и могучим частоколом... Но экзотика эта не может закрыть от читателя стихов Маргиани главного: он спустился с этих «небес поэзии», говоря словами Маяковского, в наш день, в наши сны, принеся с собою родниковой чистоты слово народное:

В горах искал я песню много дней.
Она моя по праву. И на ней
чужая не сверкает позолота.

(Перевод А. Межирова).

Фольклорная стихия поила эти строки. Р. Маргиани вспоминал, что любовь к народному началу, к слову песни и предания жила в нем с детства. Его дед, Дарис Маргиани, «просвещенный махви — старейшина рода», проживший добрую сотню лет, передал отцу поэта любовь к этнографии и собиранию фольклора. Р. Маргиани же принял эту эстафету от отца: «Меня покоряли восходящие к языческим временам образы сказаний, словно высеченные из камня, я всем существом ощущал удивительный аромат народной поэзии».

Вслушиваясь в торжественно-величественный гимн «Лилео», созданный в горах, я всегда думал о том, что именно суровость и высота гор могли подвигнуть народ на такую песню. Гимн солнцу не мог родиться в солнечной Имерети или Кахети. Его сложили люди, для которых отсветы солнца лежали на холодных льдах стремнин. Сколько оттенков — нежных, любовно собранных в сердце поэта, волнующих скрытой силой добра, — находим мы в стихах Р. Маргиани... Только в ясном небе можно так увидеть дым очага: «дымок фиалкового цвета от очага вздымался к небесам» («На гор-

Реваз МАРГИАНИ

МНОЮ УТРАЧЕННЫЙ ДЕНЬ

Потерял я и этот денек.

Даже страшно,

Что не знаю, как это случилось

со мной.

Пусто так отлетел этот день

в день вчерашний,

Даже чувств никаких не унес

он с собой.

Не унес он ни радости

и ни печали,

Даже нитки печали,

которой обвит

Я бываю порой.

Просто взял и отчалил,

ном склоне»). «Фиалковый» цвет дыма — больше, чем про-
сто «цвет»...

Солнце дарило радость, означало жизнь в поэтической
символике любовных и военных стихотворений Р. Маргиани.
С солнцем сравнивается и образ пчелы — один из посто-
янных образов поэта.

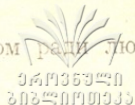
Хорошо отзываются люди
о пчеле не один уж век:
любит солнце, как мы. Дело любит.
И работает, как человек.

(«Около пчельника». Перевод В. Соколова).

Пчела — капелька солнца, начало жизнедающее и со-
борное. Она «безымянна», она несет мед «в общий улей». Кста-
ти, трудовое начало у Р. Маргиани так естественно, так
недекларативно, что воспринимается как нечто само собой
разумеющееся. «Я седею, как мельник, отмеривающий му-
ку», — возраст «отмеривается» трудом, а не просто вре-
менем. В стихотворении «Будут роиться и наши пчелы»

Ничего не оставил,
ни бед, ни обид.
Невидимка, сквозняк!..
Ну чего же он ради
Столь бесцветно мигнул
и моргнул, и прошел,
Что не смог я раскрыть
даже старой тетради
И к странице притронуться
карандашом?
Не оставил обиды,
чтоб заволноваться,
Просто взял да исчез
в позапрошлой дали —
Оттого ль, что льстецы,
эти лживые братцы,
Даже горького слова
не произнесли?

Р. Маргиани говорит, что «обучался у них. Медом ради лю-
дей наполнил слово...»



Может быть, люлька моя утром
тихо качалась вблизи улья.
Пчелы звенели над ней мудро,
детский покой
мой
карауля.

(Перевод В. Соколова)

Неудивительно, что, вспоминая кровавые ночи Керчи времен Отечественной войны, Р. Маргиани уже в 1958 году напишет:

Когда пчела пчелу родную ищет
то на одном, то на другом цветке —
знать, слушает: не злой ли ветер свищет?
Не собрались ли тучи вдалеке?

Когда пчела пчелу родную ищет,
пыльцой цветочной обдана, тогда

Не ославил никто меня
и не прославил,
Не сказал: я стихи твои
очень люблю.
И за то я на дне этом
крест свой поставил,
Что не дал он дороги
мечте-кораблю.
Я не смог закружиться
в том радостном круге,
Где и тайной надежды
сбываются сны.
Не вкусил я блаженства
в объятьях подруги,
Чтоб небесной достичь
наконец синевы.
Нет, не смог я идти
так, как в самом начале,

тайнственно она подружку кличет,
тоскует: не случилась ли беда?



Когда пчела пчелу родную ищет,
она летит извилистой тропой,
вся в брызгах рос, что слез наивных чище,
звенит, как будто плач несет с собой.

(«Когда пчела ищет пчелу». Перевод В. Соколова)

В стихотворении «На смерть друга», посвященном альпинисту Илико Габлиани, поэт снова обращается к образам пчелы и улья:

Последнее лето твое отошло.
В улья
пчелы твои прилетели с полей.
Твои дети, как пчелы —
крыло об крыло, —
жужжат над полями с бедою своей.

(Перевод М. Луконина)

В ногу с жизнью
и этой, родной для меня.
Не осталось во мне даже капли
печали,
Ни луча вдохновенья
от этого дня.
Так закончился день.
Без любви и пейзажа.
Предо мною пронесся он,
словно бы тень...
Плохо то, что и вспомнить
не хочется даже:
Он действительно был или нет,
этот день.

Перевод Владимира СОКОЛОВА

Светом солнца, желтизной пчел, пшеницы Р. Маргиани «воюет» с образами холодного, неподвижного оцепенения Зла.

Война вошла в его стихи исподволь. Он должен помнить. И в сорок девятом, и в пятидесятом, и в шестьдесят восьмом, и в семидесятых найдем мы стихи о войне, ее проклятой памяти. В очень хорошем стихотворении «Тур. Антверпен. Зоосад» Р. Маргиани скажет:

О, какую тоской заразил ты меня!

Вот дрожат на ресницах

все слезы, все боли

всех не знающих больше ни ночи, ни дня,

всех оторванных, всех заточенных в неволе.

(Перевод М. Луконина)

Тревога о мире в лирических медитациях последних лет достигает особой силы в стихотворении «Гелати». Горящее солнце, опускаясь, словно плавит купол собора, горы охвачены пожаром, отблески пламени рождают воспоминания о «черном султানে» и не менее черном дне, который может прийти в наш общий мир:

Я видел, как алое море огня

лизало узоры великих строений...

О боже, довольно печали с меня!

Избавь мою душу от этих видений!

(Перевод С. Куняева)

...Когда-то Реваз Маргиани написал: «Я по сей день удивляюсь, как решился я в Грузии — стране, избалованной первоклассной поэзией, произнести свое робкое, скромное слово...» Сам же поэт и ответил, мне кажется, на это признание образом: «Горный воздух моей поэзии...» Воздух поэзии Р. Маргиани подсказал ему «сказов ласковых лад старинный, горных песен размах орлиный». В поэзии этой многое — из фольклора горцев. И образы ритуальных быков, меж рогов которых зажглись звезды свечей, мерцающих в ночи, и образ, символизирующий смерть героя, когда на ложе кладут рубаху вместо павшего в бою, и несломленный дуб, и пророческий символ петуха на плече, и многие другие знаки языческой поэзии сванов.

Г. Леонидзе как-то назвал Р. Маргиани в числе немногих поэтов, особенно близких ему. Да, у Маргиани есть неистовая сила жизнелюбия, которая отличала и Г. Леонидзе, но чаще мы встретим тут типично сванскую патетику героизма. Вслушаемся в эти строки:

День вечерел. Набился град за ворот,
клубился мрак на крыльях у ветров,
утесы нам сдаваться не хотели,
обвалы спотыкались о грозу.
Надломленные молниями ели,
как раненые, падали вниз.

Дышали стужей горные потоки,
и в иней превращались голоса,
и молнии царапали нам щеки,
и рушились на землю небеса.

(«Восхождение». Перевод А. Межирова)

Не правда ли, разве что у Важа была подобная мощь романтического образа?

Но внутри собственной темы поэта время пробуравило, как буравит родник ледяную стену ущелья, новые русла. Стихи Р. Маргиани шли в направлении общего развития советской поэзии. Искусство обратилось к раздумьям о времени, о нашем общем человеческом пути, смысле существования:

Ну так что ж,
наступила пора
поглядеть на прошедшее время,
на сплетение зла и добра
с мерой разума и вдохновенья.

Начинаю, а время не ждет,
улетает,

бежит,
пропадает,
и никто уж не переживет,
что душа моя переживает.

(«Неожиданно день улетел...»

Перевод С. Куняева)

Р. Маргиани озабочен ныне многими темами морально-го, психологического характера. О свободе чувств, о неизреченности мыслей, о стихе, который остался, «плача», как неосуществленная мечта... Что ж, этому виною и возраст, и опыт зрелости. Не одного Маргиани.

Но в «горном воздухе» его поэзии, напоенной впечатлениями ледяных высот, сурового снега, отголосками гимна солнцу и теплыми каплями пчел, — остается главным это неумное упорство альпиниста, мужчины, гражданина, о котором сам поэт сказал так: «Нужно твердо стоять на родной земле, не ждать погоды, преодолевать тьму и идти — идти выше и выше. И погоду следует создавать самому, в стихах своих приближаться к солнцу...»

ХРОНИКА

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА

В ИНСТИТУТЕ управления народным хозяйством и на партийных курсах при ЦК КП Грузии состоялась встреча с писателем Н. Думбадзе и поэтами Дж. Чарквиани и Н. Гурешидзе.

Встречу вступительным словом открыл проректор института Ш. Папидзе. О творчестве писателей рассказали критики С. Цаишвили и Г. Гвердцители.

Н. Думбадзе рассказал собравшимся о работе над своими произведениями, поделился мыслями о связи литературы с окружающей нас действительностью, о героях своих книг, которые живут среди нас. Поэты Дж. Чарквиани и Н. Гурешидзе прочитали свои стихи.

Писатели ответили на многочисленные вопросы, поделились своими творческими планами.

ОДНА из существенных черт поэтики этого романа воплощена в синтезирующем весь его образный мир всеобъемлющем, глубинном образе гбнущего, убиваемого человеком времени. Вторая же, непосредственно примыкающая к первой, — в многозначности этого образа.

Время не просто один из многих феноменов действительности. Оно — основа и сущность самого человека, а в конечном счете глубочайшая суть Бытия. Но Бытие — не мир, не жизнь и даже не вселенная. Это — космическое целое, включающее в себя человека и наделенное единым, неделимым смыслом. Именно поэтому столь многозначен глубинный образ романа: убивая (разрушая) время, человек убивает тем самым и самого себя, и Бытие. Обесмысленное их гибелью космическое целое перестает быть Бытием и превращается в его космический антипод — Ничто. Поэтому глубинный образ чиладзевского романа

БЫТИЕ И НИЧТО

В РОМАНЕ О. ЧИЛАДЗЕ
 «И ВСЯКИЙ, КТО
 ВСТРЕТИТСЯ СО МНОЙ...»

есть образ трехзначной космической катастрофы — гибели
Времени, Человека и Бытия.

Время убивается забвением прошлого, которое
именно есть и убийство самого себя и Бытия. Именно такое
всеобъемлющее, наделенное ужасающей космической мас-
штабностью забвение и есть то подлинное «начало» романа,
та «точка отсчета», в соотношении с которой мыслится и
которой измеряется любое движение присутствующего в чи-
ладезском повествовании бытийственного смысла. Забве-
ние объемлет одновременно его текст и подтекст, поверхность
и глубину. Поверхность забвения, его бросающая фактичность —
это множасьееся в человеческом мире самозванство, а его
глубина — это триединая гибель Времени, Человека и Бы-
тия, воцарение Ничто как космической катастрофы. Само-
званство, получившее в майоре, центральном персонаже ро-
мана, мифическую масштабность воплощения, есть в то же
время и тяготеющая к универсальности примета всех чила-
дезских персонажей. Самозванство многолико, но и едино:
тот, кто вместе с прошлым забыл свое подлинное имя, пре-
дает забвению также и Бытие. Но иначе и не могло быть, ибо
подлинное наше имя, его глубинное звучание, — это всегда
диалогический, спасительный отклик на зов Бытия, сосреото-
ченный в нас и ожидающий своего раскрытия наш бытий-
ственно-космический смысл. Разве не таков обозначенный
лишь намеком, но все же отчетливо проступающий наружу
смысл детского имени майора Кайхосро, забытого им и вос-
кресшего в памяти лишь перед его смертью? «Накануне
смерти он увидел вдруг свою мать — но не здесь, где он
умирает, а там, в Тбилиси, в доме с красивым деревянным
балконом, в доме, где он родился. — Ясе, Ясе! — кричала
стоявшая на балконе женщина. — Меня зовут... — обрадовался
Кайхосро. — Но я-то ведь не Ясе? — тут же испугался он»¹.

Майор испугался, поняв, какая пропасть пролегла между
его подлинным именем (его символическим смыслом) и прой-
денным им же жизненным путем, означавшим забвение имени
и наступивший в результате этого мрак самозванства. На
этот путь (и на этот мрак) майору намекает священник Зо-
сима, когда сравнивает его с «фиалкой», вырванной с кор-
нем, сразу потерявшей запах... Майор, подобно Эдипу, пре-
дал глубокому забвению прошлое и завещанную ему этим
прошлым миссию, намеком воплотившуюся в звучании его

¹ Здесь и далее перевод Б. Резникова.

подлинного имени, — миссию быть спасителем. И он действительно явился на свет ради этой миссии, действительно был способен выполнить ее. Ясе родился богатырем зря же в начале романа свет от лампы рисует на стене поруганного им дома его «огромную тень». И этот богатырь, родившись, нес в себе невинность — вспомним момент, когда его собирается убить разгневанная, сменившая мольбу на гнев женщина: сон преобразает его, возвращая искаженному от греха лицу выражение покинувшей его в далеком детстве первозданной невинности.

Но человеку не уйти от имени, а смысл его в том, чтобы быть откликом на зов Бытия: Бытие не только созидает нас, но ждет от нас ответного созидания, и поэтому имя наше — это наш первый шаг на бесконечном пути этой ответственности. Если же подлинное имя — отклик на зов Бытия, неподлинное имя, напротив, шаг в сторону Ничто, уже намек на возможность его воцарения. Противостоящая Бытию сила непрерывно наступает, и каждый миг ее наступления чреват новым самозванством, новой потерей подлинного, наполненного бытийственным смыслом имени. Но нет самозванства без забвения: ведь самозванный майор «начисто забыл одну вещь, забыть которую так же нельзя, как женщину или врага. Он забыл свой город — не забыл даже, а просто выбросил, вытряхнул его из сердца, как хлебные крошки со скатерти».

«Свой город» — это не только и не просто место обитания среди многих подобных «мест»: в «своем городе» — в затеряншемся среди многих его очагов единственном, неповторимом для нас очаге мерцает полыхавшее в нашем детстве пламя — изначальный и извечный символ Бытия. Наш путь в Бытие, наше возвращение в него совпадает с путем в детство, с безоглядным воспоминанием промелькнувшего в его глубине бытийственного смысла. Поэтому забыть детство — значит до конца отдать себя в руки неминуемого ведущего к духовной гибели самозванства: «Кайхоро забыл, что город этот — вечный и для него единственный, что и он, и его семья связаны с ним судьбами так же, как сидящий в коляске связан с ее колесами полой шинели, только что незаметно зацепившейся за это колесо, и пусть в это мгновение он еще не знает, что его ждет, не чувствует, как пола шинели укорачивается, натягивается — в сле-

дующую же секунду она сорвет его с места, бросит его под колесо и помочь ему нечем, ибо времени скинуть с себя эту чертову шинель, избавиться от ее затягивающей смертельной силы у него уже нет!»

Шинель — такой же символ самозванства майора, как и его эполеты, и готовое раздавить его колесо — это само самозванство, порождаемое забвением. Но колесо самозванства — колесо забвения! — готово раздавить не только майора: «новое время» — время майора — это время колеса, время грозного, почти безостановочного его шествия.

Смысловая полнота забвения сосредоточена в символике романа, многочисленной и многоликой, но наделенной вместе с тем четкой системностью, отражающей как глубину, так и направленность авторской мысли. Системность чилдзевской символики делают явственной три ее структурные черты. Символика эта трехмерна: ведущие символы группируются в смысловые единства, каждое из которых образует измерение системы — горизонтальное, вертикальное или целостно-синтетическое. Каждое измерение наделено триадичностью — три символа образуют его смысловую целостность. И — что, может быть, важнее всего — смысл присутствует в этой системе не как застывшая данность, а как стремительное, порывистое движение: каждый последующий символ вбирает в себя смысл предыдущего, преобразуя его в более явственное и напряженное выражение бытийственного трагизма. Но нарастание напряжения всегда кончается взрывом, и свидетельство тому — воплощающее этот смысловой взрыв вездесущее пламя, полыхающее на страницах чилдзевского повествования, подытоживающее совокупный смысл всей символической системы.

Горизонтальное измерение символики представлено тремя символами — огромными, «как шкаф», часами, установленными майором в доме Макабели, железной дорогой, строящейся через деревню, где стоит этот дом, и барабаном в руках последнего наследника майора в этом доме — маленького идиота Сардиона.

Горизонтальность этих символов — в их смысловой связи с поверхностью забвения: они указывают на воцарение в человеческом мире порождаемого забвением самозванства, выражают со все возрастающей интенсивностью суть и лик наступающего «нового времени», о начале которого возвещают огромные, «величиной с целый шкаф», часы — символ плененного забвением и не спасаемого воспоминанием

времени. «Бом-ммм, бом-ммм, бом-ммм — били огромные как шкаф, часы: и точно, секунда в секунду рассчитанное время тащило за собой и обновленную (или новую) Макабели...»

И точно так же, как беспредельна сила возвращающегося к Бытию воспоминания, беспредельна и всеобъемлюща власть уводящего от Бытия забвения.

«Смысл, значение и качество» этого времени — это утверждаемый забвением антисмысл: двуединство смерти и Ничто: не зря собравшейся около дома Макабели деревне мерещится, что в этот дом «привезли из города не этот дорогой, деревне совершенно недоступный предмет, а гроб!» Но умереть для человека, умереть подлинно своей, человеческой смертью значит не встретиться с Бытием и не превратить свою жизнь в спасительный для себя — и для Бытия! — диалог. Зарождается же он в воспоминании с углубленно-ищущего возвращения в детство — бездонное обиталище бытийственной изначальности. Поэтому забвение означает пришествие Ничто: вместе с прошлым уничтожается и будущее, если его лик не совпадает с вопрошающим ликом Бытия, а наше движение к нему не есть любящий ответ, направленный в глубину этого лика. И поэтому впереди у майора и у всего отмеченного его каиновой печатью племени маячит Ничто — триединая смерть Времени, Человека и Бытия: «Беспрепятственно шло вперед высчитанное стрелками огромных, как шкаф, часов и их же боем утвержденное время. Никто не знал, что его ждет впереди, и поэтому все слепо — нет, не слепо даже, но с какой-то странной, малопонятной готовностью и волнением — шли за временем навстречу чему-то неясному, загадочному, возможно, даже несуществующему».

Надвигающееся Ничто еще «неясно и загадочно» в настоящем, пока его возвещает всего лишь беспредметно-отвлеченный бой часов, но навстречу этому бою уже двинулось обретшее плоть и форму его детище — олицетворяющая «новую жизнь» железная дорога. Она, «извиваясь, двигалась вперед, тяжко, болезненно утверждалась в сознании людей, привыкших к саду и винограднику, к телеге и ослу. Она лежала на укатанной насыпи гравия, как недобро притаившееся, недобро сверкающее чешуей, недоброе чудовище, без конца растущее, но для непривычного глаза именно поэтому неподвижное, неизменное, однообразное».

Символический смысл железной дороги — это разведутый, опредмеченный и обретший временную перспективу ап-тисмысл боя часов: безликость «железного чудовища», что иное, как грозящее овладеть нашим жизненным ритмом Ничто: «Вырубались леса, рвалась земля, рассекался надвое горный хребет — ничто уже не могло остановить это безликое, лишенное конечностей чудовище, подчиненное, казалось бы, не человеческому разуму, а только собственной воле!»

«Собственная воля» железной дороги — это воля Ничто, ибо только оно может воцариться на покидаемой Бытием земле, и только таящийся в нем лик Ничто («ни бог, ни человек») глядит на нас из посверкивающей железной «чешуей» «новой жизни». «Среди мазутных луж, угольных насыпей, бочек с вмятинами и сломанных тележек вставала на ноги новая жизнь, зачатая в пути, в гути же рожденная и выращенная. Ни бог, ни человек в ее возникновении, казалось, не участвовали: родившись из утробы железной дороги, она только от железной дороги и зависела». «Путь» новой жизни — это путь разрушения времени и «создания» антивремени — внутренней сути лишенного воспоминания «непрерывного движения».

Эта суть зиждется на забвении: «Новая жизнь основывалась на двух началах — железе и непрерывном движении...» Для людей, ехавших в поездах, главным был «сегодняшний день — вчерашнего у них не было или они его не помнили, а в завтрашний не верили, поэтому-то им и нужно было сегодня же получить все, что могла дать их ночевая жизнь».

Уничтожение прошлого оборачивается, следовательно, уничтожением будущего, а оставшееся без прошлого и будущего настоящее не есть уже время. Такое настоящее — не что иное, как утверждающее себя на обломках времени, торжествующее свое воцарение Ничто. Об этом воцарении возвещает бой барабана в руках маленького идиота Сардиона, и этим боем замыкается указующая на наступление «новой жизни» символическая триада. Бой барабана повторяет бой часов, выявляя в то же время до конца и без остатка его ужасающую суть. Но вместе с тем символический смысл барабанного боя шире и глубже: этот бой отображает внутреннюю, подчиненную обессмысливающим законам Ничто динамику «новой жизни», делает явной перспективу этой динамики.

Бой «огромных, как шкаф, часов» майора глубоко дву-
смысленен (амбивалентен): огромность часов — отражение
огромности самого майора, им же самим забытой и отвер-
нутой богатырской сути, а их громкий, всепоглощающий
бой — не только утверждение «новой жизни»; в него вкра-
лась глубокая, с трудом подавляемая майором внутренняя
тревога: ведь забытый им «свой город» не перестает будо-
ражить его беспокойный сон. Зов Бытия глухо, но непре-
станно дает о себе знать в его погруженном в зловещие су-
мерки сознании. Поэтому в бое слышится не только не-
уклонность утверждения «новой жизни», но и невольная
(столь же невольная, сколь невольно и воспоминание майо-
ром перед смертью своего подлинного имени), устрашающе-
будящая набатность.

Бой часов не только возвещает скорое пришествие Нич-
то. Он напоминает еще о космической грандиозности этого
пришествия, об опасности его всепроникающего тотального
воцарения.

Бой часов — это еще не Ничто, а его устрашающее и на-
стораживающее преддверие. Он вселяет в мир не только ги-
бельный, но и, возможно, целительный страх: торопит Анну,
поруганную майором женщину, когда она, выбравшись ночью
из погруженного во тьму дома, хочет тайком повидать жи-
вущего теперь в хлеву сына Георгу. Часы торопят Анну,
идущую к сыну, как бы сочувствуя ей, но они же торопят
ее вернуться обратно, грозно восставая против ее материн-
ского порыва.

Торопят часы и столь же поруганную «новой жизнью»
внучку Анны Аннету, когда она хочет бежать из оглашаемо-
го барабанным боем, вконец отдавшегося во власть Ничто
дома: «Дребезжащий бой огромных, как шкаф, часов лишил
Аннету последнего терпения, убеждая ее в том, что медлить
нельзя».

В огромности часов, в той таящейся, но неустранимой
глубине их боя, суть которой доступна не однозначно мыс-
лящему рассудку, а свободному разумению веры и дове-
рия, нельзя не уловить глухо, но настойчиво звучащую,
странную тоску по другой, противоположной в своей сути
огромности — огромности вступающих в единоборство с
Ничто исполинов. Часы пришли в мир, чтобы сразиться с по-

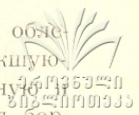
истине громадным, наполненным бытийственным смыслом прошлым.

Это прошлое должно стать воспоминанием, а она рождает богатырей, способных остановить шествие всепоглощающего забвения. Но такая огромность уходит из мира. Рожденный исполином Ясе низводит себя, свою соразмерную с идеей спасения, с порывом к самозабвению суть до ужасающего предела самозванства. Он отождествляет себя с «тремя-четырьмя литрами» крови, текущей в его жилах, и умирает «как мышь в сундуке». Призванный сразиться с «железным чудовищем» сын Анны Георгий (тот Георгий, который чувствует, как «в его маленьком теле возникает, растет, распрямляется огромное тело отца») забывает по воле майора и стоящего за ним Ничто свое подлинное, наполненное призывным смыслом имя и становится Георгой — рвущимся к воспоминанию, но так и не достигшим его рабом «новой жизни».

Забвение имени равнозначно забвению Смысла, и поэтому Георгий никак не может «понять, какой смысл вложил в его собственное существование тот, кто его создал». Становится на путь забвения и Александр — один из немногих, кому суждено сойти с этого пути: он забывает свое имя и называет себя Уродом.

Уходит из мира творимая воспоминанием огромность, а прошлое теряет свой зримый смысл — об этом свидетельствует черкеска, принадлежавшая мужу Анны, а теперь висящая на стене ее дома. Черкеска — символ гбнущего прошлого и в конечном счете — гбнущего времени. Она огромна, но ее огромность только смешит майора — апостола забвения и самозванства. Он знает, что сын Анны Георгий забудет свое подлинное имя, не унаследует отцовскую черкеску и не сразится с «железным чудовищем».

Пришедший в дом Анны майор «стал молча рассматривать висящую на стене черную черкеску... Вид черной, несколько уже обтрепанной по краям черкески напомнил майору пугало в винограднике, сверху донизу загаженное наевшимися виноградом воробьями и превратившееся для них в насест, в место передышки — хотя балда скупердьяй-виноградарь установил его специально для их устрашения! То же самое случилось с черкеской. Она была такой огромной, что занимала всю стену, но в брошенный ее хозяином виноградник новадилсь воробьи, верней даже лисицы, которые не обращали никакого внимания на черкеску, вывешенную, чтобы



отпугивать или хоть усювестить их, черкеску, некогда обле-
 гавшую плечи и грудь рослого мужчины, а ныне растекшую-
 ся, размазавшуюся по стене, как брызги дегтя, бессильную,
 пустую, как угроза мертвеца. Главным в этом доме был бор-
 чалинец, а не черкеска, прибитая к стене, как чучело како-
 го-то допотопного существа, с самого начала обреченного при-
 редой на вымирание».

Но майор ошибался, считая, что «главным в этом доме
 был борчалинец». Борчалинец — всего лишь другой лик, дру-
 гая ипстась убиваемого забвением прошлого: «огромный и
 беспощадный», он оказывается в конечном счете для майора
 таким же «огромным, но безобидным допотопным существом»,
 каким была черкеска отца Георгия. Борчалинец — олицетво-
 рение все углубляющейся пропасти между уходящим и пре-
 дающимся забвению прошлым и вырастающей из этого заб-
 вения «новой жизнью»: чем ближе, чем отчетливее контуры
 «новой жизни», тем несущественнее и неосязаемее вражда,
 противопоставлявшая друг другу погибшего (может быть, от ру-
 ки этого же самого борчалинца) мужа Анны и «живого» бор-
 чалинца, тем ощутимее его «бездушная страсть» к Анне обо-
 рачивается неоспоримой нежностью и любовью.

Прошлое одно и едино в своей смыслосозидающей, враж-
 дебной силам Ничто сути. «Я, сударь, к себе домой пришел!»
 — отвечает, «скаля зубы в напряженной улыбке», борчалинец
 майору-самозванцу, проникшему в обитель затухающего, но
 все еще живого прошлого. Борчалинец был бы не прав, ска-
 жи он то же самое воскресшему вдруг хозяину дома, но, го-
 воря это майору, он прав, — столь едино внутри себя прошлое
 и столь непримиримо оно с олицетворяемой майором «но-
 вой жизнью». Главным, следовательно, в этом доме был не
 борчалинец. Главным было забвение — предстоящее забве-
 ние Георгием своего имени, ибо огромность прошлого сози-
 дают не пришедшие из него, пусть даже исполинские, тени
 (борчалинец — живая тень, лишь сопутствующая мертвой те-
 ни отца Георгия), а исполины, рожденные в настоящем, но го-
 товые вспомнить прошлое, противопоставить его бытийствен-
 ный смысл надвигающемуся Ничто.

Суть борчалинца — в гудении, непрерывно доносящемся
 из него — «из тайных, сокровенных недр его рослого, обла-
 ченного в овечий тулуп тела...», в гудении, «схожем... с гу-
 деющим пламени и нагонявшем дремоту, утомлявшем, расслаб-

лявшем, а вместе с тем несколько даже и пугавшем своим постоянством, однообразием и непрерывностью».

Это гудение столь же двусмысленно, сколь двусмысленно и представляемое борчалинцем прошлое. В этом прошлом у согретого и вскармленного силами Бытия очага пылает и гудит пламя — символ изначальности, живущий мечтой о своем новом, обновленном возгорании, о пришествии в мир спасительно польхающего воспоминания. Но этому пламени не дано разгореться, пока о нем помнят лишь уходящие беспомощные тени. Пламя не гаснет. Оно лишь засыпает в усталом ожидании, и не будящий, а усыпляющий гул доносится к нам из с трудом согреваемого им, все меньше и меньше освещаемого им прошлого.

Но в этом гудении — затаенная, пронизанная горечью тревога, тоска по сражающейся бытийственной огромности, которую вбирают в свой «гудящий бой» и «огромные, как шкаф», часы. Им хотелось бы — и им это было бы по плечу — сразиться с такой огромностью. И поэтому в бое часов, в их «повелительных, несколько даже тревожных звуках» проглядывает пугающий, но одновременно и подспудно зовущий к выбору и деянию лик судьбы. Именно так воспринимает этот бой Анна, поселившаяся в хлеву после смерти сына: «Единственным, что нарушало (ее) уединение, был бой часов — этот дребезжащий безжалостный звук так пугал Анну, словно все еще длилось прошлое, словно ей, тайком прокрадываясь на свидание с Георгий, сейчас предстояло вновь идти туда, в логово ненависти... На минуту-другую вся напрягшись, покинув созданный ее воображением мир, Анна с тревогой прислушивалась к бою часов. Между этими звуками и ее жизнью существовала еще какая-то затаенная, непостижимая связь, должно было произойти еще что-то, чтобы связь эта прекратилась, чтоб Анна и часы расстались, забыли друг друга окончательно, навеки».

Так — угрожающе и в то же время величаво, неминуемо и смятенно наступает «новая жизнь», воплощая скрытую амбивалентность своего начала в мифической масштабности боя часов. Она ненавистна Петре, наследнику майора, представляющему всем своим существом уже не наступающую, а наступившую «новую жизнь». И уже не «гудящий бой огромных, как шкаф», майорских часов, а тиканье крохотных жилетных часиков символизирует суть этой жизни: «За деловым разговором Петре часто вынимал из узкого жилетного кармана свои серебряные часы с монограммой и глядел на них

так, словно его время крайне ограничено, расписано по минутам... а те непрестанно тикали к выгоде своего хозяина, как бы кружась на ладони, подобно насекомому с оторванными крыльями».

Часики Петре — не противоположность майорским часам, точно так же, как Петре — не противоположность майору. Недаром Петре начинает жить, приветствуемый и убаюкиваемый боем «огромных, как шкаф, часов». В момент их установления, «когда стрелки, застывшие на их циферблате величичной с тележное колесо, вздрогнули и задвигались, как живые, майор усмехнулся и, высоко подняв полную рюмку водки, сказал: «Поздравляю вас с началом новой жизни!» Впрочем, детство Георги закончилось еще до этого, а его младший брат в это время начинал выползать из пеленок.

И все же неоспорима разница — и даже пропасть! — между вступающими в единоборство с Бытием, символизирующими поворотный миг истории майорскими часами и олицетворяющими победившее Ничто жилетными часиками. «Мое время кончилось, Зосиме! — говорит майор священнику, когда останавливаются «огромные, как шкаф», часы, — Два дня молчат, и никто, кроме меня, не заметил. Это они для меня остановились. Подали знак: подготовься, мол...» А в это время рука Петре «лежала на жилетном кармане, и он чувствовал, как в нем тикают серебряные часы с монограммой. Эти часы стучали, словно второе сердце Петре, а те огромные, как шкаф (второе сердце майора — В. Л.), молчали, остановились».

Петре мог бы заново их завести и тем самым продлить жизнь своего отца, но он выбрасывает ключ от отцовских часов в знак прихода его времени — времени тиканья крохотных часиков.

Барабан в руках Сардиона — неизбежное, самим Ничто предусмотренное событие «новой жизни», а бой этого барабана — окончательная, целиком вывернутая наизнанку ее суть. В этом бое соединились два внешне контрастных, хотя и единых по существу способа самовыражения «нового времени» — лишенный уже всех признаков набатности, но не потерявший назойливой громкости бой «огромных, как шкаф», майорских часов и тупое, погруженное в смысловую пустоту тиканье часиков Петре.

Между тем барабан с его боем — лишь одна сторона того глубокого, объемного и напряженного целого, является символическая фигура Сардиона. Это целое выражение структуры забвения, его смысловой объемности надлено поверхностью и глубиной. Вспомним еще раз эту структуру забвения, чтоб подступиться к Сардиону, к его гротескно-броскому и бытийственно-глубокому смыслу. Поверхность забвения — это множасьее в человеческом мире, становящееся его приметой самозванство, а его глубина — разыгрывающаяся в недрах космического целого триединая трагедия Времени, Человека, Бытия.

Этой объемности забвения соответствует объемность символической системы романа, его наполненная взрывным смыслом трехмерность. Триада часов, железной дороги и барабана — наиболее броское и явное горизонтальное измерение символической системы, указующей на торжество самозванства и Ничто.

Горизонтальное измерение символики пересекается вертикальным — триадой, указывающей уже не на поверхность, а на глубину забвения, на порождаемую им бытийственную трагедию. Эта триада — Сардион, кукла Асклепидота и человек, нарисованный на стене хлева. Сардион своим барабанным боем замыкает первую — горизонтальную — триаду, а всей своей «остальной» сутью, всем своим неотделимым от барабанного боя, но не лишенным тем не менее своего «отдельного» лика поведением дает начало вертикальной триаде, которая и есть ключ к пониманию символического смысла Асклепидоты и человека.

Оставшийся без барабана Сардион (случается, что барабан прячут от него) способен делать только одно — искать его в тупой, ни о чем больше не ведающей «сосредоточенности».

Не будучи занят барабаном, он может только есть и кричать то, чему его научили другие: «На поминках Кайхоро Сардион жрал столько, что отбил аппетит у всех остальных. «Ух, наелся... хоть бы и отец мой поскорее помер!» — не переставая кричал он, как его научили старшие, и пошлепывал себя по туго набитому брюху руками, привычными к барабану».

Но чтоб действительно разглядеть Сардиона и уловить человеческий (и не только человеческий!) смысл этой символической фигуры, следует посмотреть на него глазами Петра — сына майора и владельца крохотных жилетных часи-

ков: «Меня он вполне устраивает... хоть он меня слушаться будет!» — говорил подвыпивший Петре.

Такой наследник вполне устраивает Петре — хозяина «новой жизни», и в этом факте — намек на смысловую глубину образа Сардиона, совпадающую с глубиной забвения: путь забвения — это путь, ведущий к Сардиону и рождающий его. Через обрамляющую дурачка гротескность проступает его бытийственная (вернее — антибытийственная) суть: Сардион — это кричащее тождество двух неминуемо (в глубине и в перспективе!) совпадающих сущностей — забвения и нечеловечности. Сардион «помнит» только о барабане, то есть ни о чем, так как бой его барабана не что иное, как звучащее Ничто. Для сардионовского барабана (так же как и для майорских часов и часиков Петре) безразлично, где и когда звучать — в Телави или в Уруки, сегодня или завтра. Для него все равно, чей слух воспримет его бой, лишь бы это был слух того, кто накормит его владельца.

Сардион перестал бы быть Сардионом при малейшем намеке на различие им места, времени и окружения, и в этом — его глубинная приобщенность к феномену забвения. В нем забвение перерастает себя, достигая тем самым своего мыслимого предела: оно становится простым отсутствием памяти. Полная послушность (управляемость) — то, чего хочет и добивается «новая жизнь». Это только конечное следствие забвения, неизбежная форма его явленности. Поэтому символический смысл Сардиона отсылает нас к смыслу Асклепидоты.

Кукла эта не безобразна и не гротескна, напротив — она красива и идилична. Но именно через такую несхожесть этих двух символов, через их кажущуюся внешнюю контрастность утверждается грозно нас предостерегающее их сущностное тождество.

Красивая кукла таит в себе ту же суть, которая «создает» безобразного Сардиона: «Но на ее лице было все то же спокойное и наивное выражение, с которым она появилась на свет где-то очень далеко, за тридевять земель, в стране таких же голубоглазых и золотоволосых девочек, как она. Ей было безразлично, кто прижмет ее к груди, у кого при ее виде расширятся глаза от радости. Она спокойно лежала в своей картонной коробке, и ее не печалило, что она с каждым днем все больше удаляется от редины».

Вахтанг Лебанидзе. Бытие и Ничто.

Асклепиодота, следовательно, такое же по сути восприятие забвения, каким будет Сардион. И поэтому радость матери при виде куклы — это предвосхищение того забвения, которое будет испытывать Петре при виде Сардиона.

Асклепиодота и Сардион — двуединая модель творимого забвением человека. Если Асклепиодота — скрытое, еще не кричащее начало его падения, то Сардион — символ падения полного, завершенного. Но падение человека есть падение Бытия-Времени — разыгрывающаяся в космической целостности трагедия, которую, как бытийственную глубину забвения, воплощает человек — подытоживающее звено вертикальной триады.

Все бесконечно важно, все наполнено грандиозно-космическим и вместе с тем глубоко горестным смыслом в многомерной структуре человека. Он идет из прошлого, из еще не утерявшего бытийственный смысл, еще лелеющего мечту о победе Георгия над «железным чудовищем» прошлого. Ведь нарисованный маленьким Георгием на камне еще не разрушенного майором отцовского дома человек «с тонкими, как тростинка, смешно растопыренными руками и ножками» живет и в настоящем: «камень этот попал в стенку хлева» — единственной обители Смысла, вмещающей в своей символике надежду на спасение и боль отчаяния. Но человек попал в стенку «навыверот» — вверх ногами, и эта его опрокинутость — предвосхищающее выражение рокового смысла, воплощаемого Сардионом и Асклепиодотой. Притом человек не только опрокинут — он падает, и в этом падении его смысл обретает символическую значимость, выходящую за пределы человечности и достигающую размеров космической катастрофы: «опрокинутый вверх ногами человек каждый раз, когда Георга смотрел на него, почему-то напоминал ему их с майором охоту, и каждый раз у него при этом так сжималось сердце, словно он видел, как падает вниз головой сраженный шальной пулей бог!»

Но «бог» — одно из имен, данных человеком Бытию, один из отблесков узренной им триединой тайны — тайны Человека, Времени и Бытия. В недрах рожденного космосом времени Бытие совпадает с человеком, с его глубочайшей сущью и одновременно взывает к нему, ждет от него спасительного созидания. Вспомним эту парадоксальную космическую истину, чтобы постичь глубинный смысл падающего «вниз головой» человека. В своем падении он выражает именно эту истину в ее трагическом воплощении: убить человека

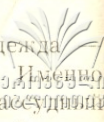
9 6 9 3 5 9 4 0
0 2 1 2 1 1 0 3 3 3

в себе и в другом, убить его силой всепоглощающего забвения — значит убить тем самым и Бытие. Поэтому падающий человек одновременно и падающее Бытие-Время, это падающий — и в падении умирающий — Смысл. Нет и не может быть предела убийству, совершаемому забвением: Ничто бывает таким же беспредельным в своем наступлении, как и победное сияние Бытия. Поэтому так бесконечно глубок смысл вопроса, который неустанно задает себе доктор Джандиери — «Эскулап», примыкающий к Георге в своей беспомощности и своей мечтой о возвращающем к Бытию воспоминании: «Что с человеком? Что с ним стряслось?» Отблеск смысла, пронизывающего человечка, падает и на этот вопрос, преобразуя и наделяя его бытийственным подтекстом: «Что с Бытием? Что с Бытием стряслось?» — таков этот вопрос в его истинном, полностью раскрытом звучании.

В третьем — целостно-синтетическом — измерении символика трагедия Бытия-Времени (а значит — трагедия самой сокровенной сути человека!) достигает предельного выражения. Если в предыдущих (в горизонтальном и вертикальном) измерениях символической системы выразителем трагического смысла выступал преимущественно предметно-вещный мир, то здесь символическую «эстафету» принимает животный мир, вплотную с нами соприкасающийся, всевидящий мир Жизни. В этом измерении символика становится до конца осязаемой интенсивная космичность поэтической мысли О. Чиландзе, которая означает в то же время ее бытийственность. Поэтическая действительность дана в романе не просто как единство трех миров — вечно-предметного, животного и человеческого. Это единство означает, что они наделены одним и неделимым, всеобъемлюще-космическим смыслом, объемлющим и человека, но одновременно и ждущим от него бесконечно обновляемого светного творения.

Целостно-синтетическое измерение символика вбирает в себя совокупный смысл предыдущих измерений, придает вместе с тем этому смыслу ту интенсивность выражения, которая была бы недоступной предметно-вещному миру: мир Жизни, представленный триадой Олень — Осел — Петух, обращен здесь к человеку, к миру Духа со всей горестной выразительностью трепетного ожидания спасительного отклика.

Символическая выразительность мира Жизни предстает в романе как последняя надежда гнущегося, задыхающегося в



тисках забвения Бытия - Времени. Но ведь такая надежда всегда скачок в сферу крайнего, почти невозможного. Иначе таков смысл, выражаемый последней триадой: безразудный порыв к доверию перерастает здесь в набатно кричащий ужас. Порыв к доверию, как трепетный сплав отчаяния и надежды, символизирует Олень, появившийся в деревне «в день похорон Анны», то есть в день, знаменующий зловещую возможность гибели Бытия и торжества Ничто. Приход Оленя означает: Бытие не может — не хочет — поверить, что человек не понимает главного: убийство есть самоубийство, и нет — действительно нет! — предела убийству, совершаемому забвением. Своим порывом к доверию Олень-Бытие хочет вернуть человека в лоно созидательной изначальности, чтоб пробудить тлеющую в нем силу воспоминания: «Он шел, подняв голову, осторожно и размеренно шагая по утоптанному человеческими шагами снегу... голод и одиночество ослепили, оглушили его, а страх свой он преодолел, наверное, еще в лесу, раз уж сам прибрел в жилище человека...» «Голод и одиночество» Оленя — это голод и одиночество покинутого человеком, оставшегося без спасительного его слова-воспоминания Бытия. Но ждать такого слова — значит любить, и приход Оленя-Бытия к человеку выражает мечту, затаенную в глубине всякой любви, — спастись словом любимого или умереть от его руки. Но пуля, сразившая человечка, настигает и Оленя: любимый не становится любящим, а мрак забвения — мрак убийства — окончательно обступает дом Макабели (и символизируемый этим домом мир), готовый скоро и неотвратимо его поглотить.

В этом мраке живет и проникается им неспособный уже на порыв и доверие другой символ Бытия — Осел, живущий в хлеву вместе с Георгьей, Анной и человечком. Это он «съезживается в своем углу» от страха, услышав возвещающие пришествие Ничто звуки «огромных, как шкаф», часов. «В сумерках превращенного в храм хлева темное тело осла со слезящимися от ладана глазами возвышалось, словно монумент одиночеству и безысходной скорби». Своим одиночеством Осел-Бытие похож на одинокого Оленя-Бытие, но разнится с ним своей «безысходной скорбью». Эта скорбь — скорбь умудренной горестным опытом, не верящей уже в спасительное слово любви. Это недоверие грозит быть всеобъемлющим и необратимым: оно вселяется в других, находящихся далеко от хлева ослов и выражается даже Александру — единственному из людей, действительно отвернувшемуся от самозванства, окон-

чательно ушедшему из-под власти забвения: вернувшийся на родину вместе со спасенной им племянницей Александр Видит, как на базарной площади «идут тяжело нагруженные ослы...» «Пока... тьма еще не тронулась, все происходит в мраке...», но вот «постепенно из тьмы выплывает привязанный к засохшей шелковице осел» — окончательно сломленный скорбью и одиночеством двойник первого, тсмившегося в хлеву осла.

Петух аробчиков — последний символ этой триады, последнее воплощение обезумевшего от отчаяния Бытия-Времени. Петух преобразует пронизывавший Оленя и Осла скорбный смысл в безумно-набатный крик: «Петух непрерывно кричал; растрепанный, взъерошенный, с остекленевшим глазом, он, широко растопырив лапы и вцепившись своими поблескивающими когтями в доску облучка, качивался вместе с арбой, то ли разъяренный, то ли изумленный — а скорее всего и разъяренный, и изумленный — глухотой мира и отдаленностью и равнодушием того, для чьего слуха он так усердствовал!» Глухота эта, однако, безгранична и неустраима: «дурные предчувствия» — вот все, что возникает в душах людей в ответ на исступленный петушиный крик. Но «безумный петух на что-то указывал, был предвестником чего-то — не ночи и рассвета, возвещать о наступлении которых господь ему только и поручил, а чего-то другого, большего, более существенного!»

Но действительно целостный, взрывной смысл трагического чиладзевского повествования не может быть выражен ни одним из символов трехмерной символической системы: ведь каждый из них — представитель лишь одного из миров, образующих космическое целое, — предметно-вещного, животного или человеческого. Каждый из символов — это ступень восхождения к Целому, а Целое уже предчувствуется, предвидится в набатном крике петуха. Но и эта набатность — всего лишь приближение, а целостный романский смысл воплощается в пламени лампы, обитающем на страницах повествования и говорящем огненным языком трагедии пламени простой керосиновой лампы.

Полыхая на зыбкой грани, отделяющей романский текст от его подтекста, пламя лампы проходит через всю канву напряженного сюжета, вбирая в себя глубинный смысл этого напряжения. Пламя не есть составная часть разветвленной, уже

познанной нами (в самых общих контурах) символической романа; оно — вне системы, но эта внесистемность — зиждательной основы. Пламя лампы — тот всеобъемлющий символический центр романа, из смысловой глубины которого разворачивается и к которому, как к единой точке притяжения, возвращается все содержательное многообразие символической системы. Эта глубина пламени — его зиждательная сила — есть отражение его неповторимого в своей сути генезиса, его рождения в том целостном измерении космического смысла, в котором встретились и слились воедино Бытие, Время и Человек.

Пламя — это объятый жертвенным порывом, сошедший к нам на землю и вселившийся в скромную керосиновую лампу огонь космической истории — тот огонь, в котором сторел мифический Даричанский сад, центральный символ первого романа О. Чиладзе («Шел человек по дороге...»). Сад исчез потому, что началась история, символизируемая огнем, отмеченная бытийственным трагизмом космическая история.

Поэтическая мысль О. Чиладзе изменчива и прерывиста лишь на уровне поверхности текста — в непосредственно воспринимаемой структуре столь несхожих сюжетов. В своей же глубине, на уровне стремящегося стать единым смысловым потоком подтекста, эта мысль неделима и непрерывна: она неизменно обращена к средоточию космического Смысла — к триединству Бытия, Времени и Человека. Первый роман — предьстория этого смысла, рассказ о том, как исчез миф и началась история, а второй — отражение трагической сути этой истории.

Пламя лампы — вездесущая примета «новой жизни» («Сейчас лампы у всех стоят, — говорит торговец Гарегин, когда у него хотят купить стекло для лампы, — никакой фабрике не управиться»). Заполняя и объединяя все символическое пространство романа, меняя при этом внешний облик и место обитания, но не меняя своей глубинной сути, пламя воплощает историю — разворачивающуюся в нас и вокруг нас триединую трагедию Бытия, Времени и Человека. Его полыхание — это трепетный отклик на глубинный смысл всего происходящего в человеческом мире. У полыхающего пламени — два полюса жизненной полноты, и постичь эти полюсы возможно лишь в той мере, в какой мы верим в космическую сущность этого символа, в то, что он — поселившийся вблизи нас огонь истории. Первый полюс — это полюс угасания, и он проступает тогда, когда достигает предела торжество

убивающего Ничто: «Пламя гаснет, хотя по задымившемуся фитилю еще долго бегают маленькие блестящие искорки». Полюсу угасания противостоит полюс возгорания: со страниц романа уходит лампа, но не уходит «освободившееся из жесткой ловушки» пламя: приняв свой изначальный вид — вид слицетворяющего космическую историю Огня — пламя заволакивает горизонт, предвещая близость возможной схватки с Ничто; и хотя рассвет наступит «еще не скоро», «вдали, над Алазанской долиной, у тьмы багровый оттенок...», «темные проулки пропитаны запахом дыма: вдали... горит жнивье, и красные отблески огня отражаются в темном небе».

Оба эти полюса суть исчезновение пламени, его погружение в иную, родственную ему, но не совпадающую с ним символическую реальность. Но между этими полюсами, в открывающемся между ними смысловом пространстве со страниц романа О. Чиладзе предстает перед нами ставший пламенем Огонь истории, предстает в том неустанном и тревожном своем послыхании, которое есть все тот же, без конца, но теперь уже самим Бытием повторяемый вопрос: «Что случилось с человеком? Что с ним стряслось?».

ИЗ

РЕВОЛЮЦИОННОГО

ПРОШЛОГО

Георгий ДЗИДЗАРИЯ,
Игорь ЛЕЙБЕРОВ

„ОСУЖДЕН: ПО ОБВИНЕНИЮ В БОЛЬШЕВИЗМЕ“

СОВМЕСТНЫЙ НАУЧНЫЙ
ПОИСК ЛЕНИНГРАДСКИХ И
АБХАЗСКИХ УЧЕНЫХ-ИСТОРИ-
КОВ

ЭТОМУ документу более
шестидесяти лет. Двойной
разворот плотного картона.
На внешней стороне четкий
текст: «Какого разряда арестант: Административный. Билет № 2174 арестанта: Белякова Алексея Александровича. (Камера) № 2 Сухумской тюрьмы. Заключение с 20 сентября 1919 года. Окончание срока наказания... 1920 год».

На внутреннем развороте бросаются в глаза слова: «Осужден: по обвинению в большевизме».

Тюремный билет за номером 2174 принадлежит видному революционеру, большевику-ленинцу, земляку и другу В. И. Ленина — А. А. Белякову. Почти в течение года он возглавлял Сухумскую окружную организацию большевиков по заданию Центрального Комитета и Кавказского краевого комитета РКП(б). С конца 1918 и по осень 1919 года — в условиях разгула белогвардейско-меньшевистской контрреволюции в Абхазии и Грузии.

Долгие годы подробные биографические данные А. А. Белякова были неизвестны грузинским и абхазским ученым. Только совсем недавно известный советский ученый, доктор исторических наук, лауреат Государственной премии СССР И. П. Лейберов сообщил общие данные о А. А. Бе-

лякове члену-корреспонденту Академии наук Грузинской ССР
Г. А. Дзидзария. Оба ученых заинтересовались личностью А. А. Бе-
лякова, они начали совместный научный поиск.

Большую помощь им оказали директор Государственного му-
зея Великой Октябрьской социалистической революции в Ленин-
граде кандидат исторических наук Л. А. Шевцов и старший на-
учный сотрудник музея Е. Р. Стрельникова, которой удалось
выявить ряд интересных документов о жизни и деятельности
А. А. Белякова. Она-то и сообщила о новых находках профессо-
ру И. П. Лейберову как автору труда «Цебельдинская находка.
Из истории революционных связей между Петербургом и Кавка-
зом».

И вот первые результаты этого интереснейшего научного поис-
ка ленинградских и абхазских ученых.

1. РЯДОМ С ЛЕНИНЫМ

В ИНСТИТУТЕ марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хра-
нится личная рукопись Алексея Александровича Белякова под
названием: «Около самарских кружков до В. И. Ленина и при
В. И. Ленине с 1883 г. до 1893 г. (воспоминания участника круж-
ков)». Эта рукопись была написана в 1926 году, незадолго до
смерти Белякова, и посвящалась самарскому—наиболее малоизве-
стному—периоду жизни и деятельности В. И. Ленина. Ознакомив-
шись с рукописью, Н. К. Крупская дала ей высокую оценку. Лишь
спустя свыше тридцати лет рукопись Алексея Александровича
увидела свет под названием «Юность вождя. Воспоминания со-
временника В. И. Ленина» в издательстве «Молодая гвардия».

Со страниц этой книги встает облик юного крестьянского па-
ренька. (Согласно данным паспортной книжки за № 57, выдан-
ной Сухумским городским комиссариатом в январе 1919 года,
А. А. Беляков родился 4 августа 1869 года). Он рано познал
трудности крестьянской жизни, всегда тянулся к знаниям и к кни-
ге. Рос упорным, смекалистым, добрым и справедливым. После
окончания Самарской учительской семинарии стал народным учи-
телем в селе Царевщина Самарской губернии. Тогда он увлекся
идеями народовольчества.

Крутой поворот в жизни 20-летнего учителя наступил, когда он
познакомился с Владимиром Ильичем Ульяновым-Лениным в на-
чале декабря 1889 года. Это произошло на квартире известного
самарского народовольца А. П. Скляренко. После этого они часто
встречались, беседовали, горячо спорили по вопросам теории и

практики народолюбия, о судьбах «крестьянского» социализма в России.

В это же время В. И. Ульянов-Ленин глубоко изучил труды К. Маркса и Ф. Энгельса, переводил с немецкого на русский «Манифест Коммунистической партии». Этот перевод Владимир Ильич неоднократно читал в революционных кружках. Под его влиянием организуются первые марксистские кружки из рабочих, гимназистов, передовой интеллигенции Самары. В центральном кружке под руководством Ленина Алексей Беляков пристрастился к чтению марксистской литературы.

Вместе с В. И. Лениным Беляков посещает дома народолюбцев А. И. Ливанова и В. Ю. Виттена, слушает их рассказы о судебных процессах над народолюбцами, о методах их конспирации, об условиях тюремной жизни, способах сношения с товарищами, остающимися на свободе. И вновь резкие споры об ошибочности народолюбческой тактики. Беляков все чаще и чаще брал сторону Ленина, убеждаясь в правильности его позиции. Для Алексея Александровича это были первые ленинские «университеты» марксизма.

Но молодые люди не только вместе спорили и изучали марксизм, они вместе любили и отдыхать, играть в шахматы, говорить о книгах, путешествовать. В начале мая 1890 года члены подпольного кружка во главе с В. И. Лениным и А. А. Беляковым совершили, как они выражались, «кругосветное путешествие по рекам Волге и Усе». Простор великой русской реки, незабываемые сказы и песни о казачьей вольнице Степана Разина и Емельяна Пугачева, долгие разговоры и мечтания о судьбах родины у душистой волжской ухи — все это несказанно волновало. За четыре дня посетили несколько сел и деревень, в частности Екатеринбург и Царевщину. Знакомились с крестьянским бытом, трудом, мыслями. Уже тогда Алексей Александрович увидел, что Ленин внимательно относится к простым людям, умеет из короткой беседы делать глубокие марксистские выводы о нужде и разорении крестьянства.

А. А. Беляков был свидетелем и того, как Ленин умело и по-марксистски точно разбивал концепции теоретика народничества Н. К. Михайловского и народолюбца М. В. Сабунаева (или Цебунаева) во время их приездов в Самару.

Заметим, что в подпольную группу М. В. Сабунаева в Ярославле входил и молодой народолюбец П. А. Добрынин. Тот самый Павел Андреевич, который в 1903 году с семьей поселился в абхазском селе Адзюбжа близ Сухума, основал садовый кооператив «Язон» и на сестре которого большевичке Марии Андреевне

Добрыниной был женат известный ленинец М. И. Васильев-Южин неоднократно бывавший в Сухуме, Цебельде (в вороновской «Ясочке») и в Адзюбже. Так невидимые нити связывают историю революционного Поволжья и солнечной Абхазии.

Как-то весной 1891 года Беляков передал своим товарищам по кружку нелегальную брошюру «Помощь побегам» для переписки ее и распространения среди самарской молодежи. Это стало известно полиции, последовал обыск, арест на четыре месяца. При самарском жандармском управлении завели дело на красномольного учителя. Прошел ровно год, и Алексей Александрович вновь арестован и посажен в городскую тюрьму за хранение марксистской литературы. Правда, вскоре его выпустили на волю, но отныне за ним на год устанавливался гласный надзор полиции. Этим самым сельский учитель Беляков получал на руки документ о «политической неблагонадежности» и ему впредь запрещалось учительствовать.

Тюрьма, тягостные допросы, издевательства закалили характер молодого революционера. Однако ясно было одно: надо немедленно покинуть Самару и менять профессию. Тяжело было прощаться с Владимиром Ильичем, его семьей — матерью Марией Александровной, старшей сестрой Анной Ильиничной (Беляков со временем стал своим человеком в семье Ульяновых), с друзьями по марксистскому кружку.

2. ВО ГЛАВЕ «УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО СОЮЗА»

В ИЮНЕ 1893 года Алексей Александрович навсегда покинул гостеприимную и ставшую ему близкой Самару. Он выехал в город Челябинск Оренбургской губернии, где устроился на строительстве Западно-Сибирской железной дороги.

Некоторое время Беляков стоял в стороне от активного революционного дела. Постепенно входил в курс местных событий, познакомился с местной интеллигенцией, с передовыми рабочими. Занимался марксистским самообразованием, в этом сказывалась ленинская школа самарского периода.

Человек ищущей и свободолюбивой природы, Алексей Александрович охотно сближался с людьми, подобными себе. В том же доме Пчелина, где он снимал комнатку за скромную плату, по соседству проживал П. В. Балашев, в свое время входивший в

марксистский кружок Н. Е. Федосеева в Казани. Они сблизились, вместе читали и обсуждали марксистскую и народоволюционную литературу, горячо спорили «за чаями». А летом 1896 года Бе-
ляков, Балашев, рабочий-народоволец Н. М. Зобнин организовали
«Уральский рабочий союз». Это был неоднородный «Союз», в него входили не только социал-демократы-марксисты, но и народо-
волюльцы. С течением времени в нем постепенно стали преобладать марксистские тенденции.

Алексей Александрович вошел в бюро «Уральского рабочего союза», отвечал в нем за организационную и идеологическую работу. «Союз» сумел установить тесные связи с марксистскими и рабочими кружками в Златоусте, Екатеринбурге (ныне Свердловск), Нижнем Тагиле, Перми. Установились тесные связи с петербургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса», во главе которого стоял В. И. Ленин. Из Петербурга в большом количестве экземпляров переслали ленинскую брошюру «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах», которая была распространена на предприятиях Челябинска и Златоуста. Систематически получались и листовки «Союза борьбы».

Беляков искренне радовался успехам ленинского «Союза борьбы», размаху его работы. Знал, чувствовал, что он оправдает надежды В. И. Ленина в большом и малом революционном деле.

На май 1898 года «Уральский рабочий союз» начал готовить общепуральскую забастовку. Но в ряды «Союза» затесался опытный провокатор, который выдал жандармерии основных членов этой организации. В феврале последовали аресты. В мае в наручных кандалах Алексей Александрович был доставлен в Екатеринбургскую тюрьму. Через три месяца он был осужден и выслан на долгие три года в северную архангельскую ссылку.

Могло показаться, что трехгодичная тяжелая ссылка в холодные края сломит мужество революционера. Однако этого не произошло. Беляков возглавил комиссию взаимопомощи политическим ссыльным. При его содействии были организованы дешевая столовая, небольшая библиотечка книжных и подпольных изданий, аптека. В ссылке Алексей Александрович сумел самостоятельно подготовиться и позже сдать экстерном экзамен на звание инженера-строителя железных дорог, мостов, ирригационных сооружений.

Летом 1901 года пришло освобождение. Беляков выехал в район Томска и Омска, где строит мосты, железнодорожные разъезды. Одно время редактировал омскую газету «Степной край», проявил себя как талантливый журналист. Вскоре переезжает в

Туркестан и Киргизию, возводит там ирригационные и оросительные сооружения. Везде, где работает, будь то в Сибири, будь то в Средней Азии, Алексей Александрович ведет революционную пропаганду среди рабочих, железнодорожников, строителей, местного населения. После II съезда РСДРП вошел в ряды большевиков, активно поддерживал ленинский курс в пролетарском движении.

3. НА БАРРИКАДАХ РЕВОЛЮЦИИ

ВЫСОКОЕ профессиональное мастерство инженера-строителя у А. А. Белякова сочеталось с революционной убежденностью и идейностью, пролетарский интернационализм — с глубокой верой в дело рабочего класса.

...Осенью 1905 года народная революция достигла своего апогея. Беляков приезжает в Петербург и сразу же оказывается в центре событий. Он входит в редакцию большевистской газеты «Новая жизнь». Ее редакцию с начала ноября возглавил В. И. Ленин после возвращения из-за границы. Алексей Александрович вновь, как и в Самаре, работает рука об руку с вождем партии, почти ежедневно они встречаются, обсуждают материалы, которые идут в «Новую жизнь». Только за 25 дней ноября-декабря Владимир Ильич опубликовал в газете тринадцать статей. В них содержались принципиальные установки по вопросам партийной и революционной тактики для большевиков, всего пролетариата. Газета стала популярнейшим рабочим органом в России, ее тираж достигал 80 тысяч экземпляров ежедневно.

Редакция газеты помещалась в самом центре столицы — по Невскому проспекту, в доме 68. Сюда ежедневно и приходил Беляков, прочитывал поступающие заметки и статьи, правил их, беседовал с рабочими корреспондентами. Здесь же работал и Владимир Ильич, проводил партийные совещания, собрания, встречи членов и работников Центрального и Петербургского комитетов РСДРП. В редакции Алексей Александрович сблизился с выдающимися работниками партии Л. Б. Красным, А. В. Луначарским, В. В. Воровским, М. С. Ольминским. Познакомился с А. М. Горьким, который тогда в «Новой жизни» опубликовал свои знаменитые «Заметки о мещанстве». Однако 2 декабря газета была закрыта полицейскими властями.

Г. Дзидзария, И. Лейберов. «Осужден: по обвинению в большевизме».

Еще в ноябре 1905 года В. И. Ленин поставил вопрос о создании в Петербурге крупной легальной большевистской типографии. По его указанию из Баку была перевезена ставшая знаменитой подпольная партийная типография «Нина». С типографским оборудованием в столицу переехала группа грузинских большевиков-печатников—Авель и Семен Енукидзе, Ваню и Георгий Стуруа, Ваню Болквадзе, Сильвестр Тодрия. Заведующим типографией по указанию Ленина стал его друг и земляк Алексей Беляков, а старшим бухгалтером — бежавший из ссылки и живший по чужому паспорту Иван Радченко, известный работник ленинской «Искры».

С марта 1906 года типография товарищества «Дело» начала работать. Она разместилась по набережной реки Фонтанки, в доме 96, квартира 54. Здесь четыре месяца проработал Беляков и в апреле-мае вновь почти ежедневно виделся с В. И. Лениным. Типография стала центром кипучей издательской деятельности большевиков. Здесь печатались популярные ленинские брошюры и статьи, журнал «Вестник жизни», большевистские газеты «Волна», «Вперед», «Эхо», «Новая волна». Только в 56 номерах этих газет было напечатано свыше 60 статей и заметок В. И. Ленина.

Хорошим подспорьем в выпуске этих изданий было умение Алексея Александровича достать деньги, шрифт, бумагу, краску. Пригодился и его инженерный опыт при установке и пуске типографского оборудования. Вот тогда Беляков и начал активно сотрудничать с грузинскими большевиками-печатниками, обслуживавшими типографию «Дело». Одними из верных помощников Белякова в распространении ленинских изданий, пересылке их транспортом в Грузию и Абхазию стали уроженка Тифлиса, курянка Высших курсов П. Ф. Лесгафта, член партии с 1903 года Людмила Воронова, ее подружки-большевички Клавдия Александер и Вера Заорская.

И еще одно ответственнейшее — третье за 1905—1906 годы — задание Ленина выполнял А. А. Беляков. В июле 1906 года Владимир Ильич решил перенести издание центрального органа партии — газеты «Пролетарий» из Петербурга в Выборг. Это объяснялось наступлением реакции и тем, что Финляндия имела определенную независимость от царских карательных властей.

Из воспоминаний старого большевика, члена КПСС с 1891 г., соратника В. И. Ленина, члена Петербургского комитета РСДРП А. Г. Шлихтера: «Сначала для первой разведки о возможности выпуска газеты («Пролетарий») в Выборге прислал (А. А.) Беляков (он в то время проживал в Терноках, в Финляндии, скрываясь от преследований полиции — Г. Д., И. Л.), который предпо-

лагал, что набор и печатание газеты можно организовать в типографии местной финской социал-демократической газеты. Вскоре выяснилось, однако, что рассчитывать на возможность ежедневного приюта нашей газеты у социал-демократов не приходится. Мы повели переговоры о предоставлении нашим наборщикам одной комнаты в типографии местной шведской газеты на арендных началах... Когда все подготовительные работы были закончены, в Выборг приехал В. И. Ленин для личного ознакомления с положением дела. Остановился В. И. Ленин в небольшой тихой гостинице под названием «Немецкая», недалеко от вокзала (гостиница «Бельведер» — ныне дом №16/11 по набережной имени 40-летия комсомола — Г. Д., И. Л.). Здесь он прожил около двух недель. Сам организовал секретарскую часть выпуска газеты и сам выпустил первый номер». (А. Шлихтер. Ильич, каким я его знал. М.-Л., 1928, с. 18—19).

Организационная сторона выпуска «Пролетария» была возложена на А. А. Белякова, А. Г. Шлихтера, а также грузинских большевиков-печатников во главе с братьями Авелем и Семеном Енукидзе, Ваню и Георгием Стурюа. Тот же А. Г. Шлихтер вспоминал: «... Вся техническая организация печатания в Выборге матриц и перевозки их в Питер, где по ним уже на ротационной машине печаталась наша газета, была поручена... штату специальных наборщиков-грузин, наших партийных товарищей, поселившихся в Выборге. Большинство из них работали в «искровский» период партии в знаменитой подпольной типографии («Нина» — Г. Д., И. Л.) в Баку. Они вкладывали в это конспиративное дело всю беззаветную преданность партийных подпольщиков». (Там же, с. 18).

Работа Алексея Александровича по личным заданиям и под руководством В. И. Ленина в центральных органах партии — в «Новой жизни», «Пролетарии», в типографии «Дело» — выдвинула его в число крупных организаторов легальной и нелегальной большевистской печати, снискала ему заслуженный авторитет в партии.

4. ПО ОСОБЫМ ЗАДАНИЯМ ПАРТИИ

РЕВОЛЮЦИЯ потерпела поражение. В. И. Ленин, его ближайшие соратники эмигрировали из России, ушли в глубокое подполье или находились в тюрьмах и ссылках.

Г. Дзидзария, И. Лейберов. «Осужден: по обвинению в большевизме».

Полиция усиленно разыскивала А. А. Белякова. Ему пришлось покинуть Петербург и переехать в Баку. Там он работает инженером на стройках, на нефтепромыслах. В 1908 году Алексей Александрович получил премию за проект засыпки Биби-Эйбатской бухты в Баку, где надо было вести добычу нефти. Это было высокое признание заслуг инженера-большевика. В городе он знакомится и часто видится с руководителями Бакинской организации РСДРП Степаном Шаумяном, Алейшей Джапаридзе, Арташесом Карнианом, Мешади Азизбековым, будущими руководителями легендарной Бакинской коммуны в 1918 году.

В условиях нового революционного подъема в начале 1911 года Алексей Александрович вновь возвращается в Петербург. Он становится управляющим крупной типографии Березнева, где в то время печаталась легальная большевистская газета «Звезда». Типография размещалась по Ивановской улице (ныне улица «Правды»), дом 14, где с мая 1912 года начала выходить в свет ленинская «Правда». Идейным руководителем «Звезды» был В. И. Ленин, в ней он опубликовал около 50 своих статей. Официальным издателем «Звезды» был известный питерский пролетарий-ленинец В. А. Шелгунов, с которым Беляков подружился в 1906 году во время их проживания в Терноках.

В том же 1911 году последовал четвертый арест Алексея Александровича, высылка из столицы. Вновь работа на стройках Средней Азии и Закавказья.

После Февральской революции А. А. Беляков назначен комиссаром Николаевской железной дороги и Александровского механического завода в Петрограде. А в канун Октябрьского вооруженного восстания — 23 октября 1917 года получает следующий мандат:

«Товарищ Беляков А. (А.) делегируется комиссаром от Военно-революционного комитета при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов на Варшавский вокзал и Варшавскую линию железной дороги. За председателя (Петроградского ВРК) Н. Подвойский». («Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». Докум. и материалы. М., 1957, с. 245).

Ответственный пост социалистической революции. Надо выполнить указание В. И. Ленина об изоляции Петрограда от внешнего мира, чтобы исключить возможность переброски контрреволюционных войск в колыбель революции. Данный мандат был подписан героем Октября, большевиком-ленинцем Н. И. Подвойским, руководившим штурмом Зимнего дворца.

Социалистическая революция победила. Следовало закрепить ее завоевания на местах, в бывших национальных окраинах. Туда

выезжали лучшие работники партии, напористые, высококультурные. Для борьбы с местной контрреволюцией, буржуазными националистами, для оказания центральным районам Советской России помощи хлебом, углем, нефтью, рудой. Среди этих работников был и А. А. Беляков.

Весной 1918 года Алексей Александрович откомандировывается ЦК РКП(б) в Закавказье как член Кавказского краевого комитета партии и уполномоченный ВЦИКа Советов по Кавказу. Высокое, очень высокое доверие партии и Ленина.

Несколько месяцев мотался между Тифлисом, Баку, Батумом, Кутансом, Сухумом. Организовывал работу железнодорожного транспорта, снабжение продовольствием этих городов, переброску бакинской нефти в центр России. Затем организация большевистского подполья, отрядов Красной Армии.

В конце того же года Кавказский крайком РКП(б) направил Белякова в Сухум для укрепления местной большевистской организации. Она была ослаблена в результате падения Абхазской коммуны (март—май 1918 года), ухода красных отрядов на Кубань, репрессий буржуазно-меньшевистских правителей.

Алексей Александрович прибыл в Сухум вполне легально, как известный инженер, крупный специалист в строительстве железных дорог, мостов и тоннелей, которого хорошо знали в Баку и Тифлисе. Все это способствовало легальному прикрытию действий ленинского посланца в Абхазии. Первое время он состоял в должности инженера-строителя при меньшевистском Сухумском городском комиссариате. В паспорте за № 57, выданном Белякову 29 января 1919 года, в пункте 8 имеется запись: «Документы, на основании которых выдана паспортная книжка: Как лицу известному Комиссариату гор. Сухуми».

С марта 1919 года он возглавил временный Сухумский окружной комитет РКП(б), избранный на подпольной конференции большевиков Абхазии. Окружком начал действовать в тяжелых условиях: без денежных средств и при слабой связи с центром. Алексей Александрович сумел наладить связь с Тифлисом, Батумом, Баку. Помогала ему в этом группа членов Окружкома партии — Северьян Кухалейшвили, Иван Выгриянов, Александр Мгеладзе, Исак Жвания. Связь с крайкомом партии в Тифлисе, с парторганизациями в Батуме и Гаграх поддерживалась через И. М. Выгриянова, обычно приезжавшего в Сухум на буксирном пароходе «Чорох», курсировавшем между Поты и Гаграми.

Г. Дзидзария, И. Лейберов. «Осужден: по обвинению в большевизме».

Для пополнения партийной кассы Абхазской большевистской организации по замыслу Алексея Александровича была проведена хитроумная конспиративная акция. В Сухуме была проведена крупная партия соли, погружена на двухмачтовое парусное судно и с «купцом» Беляковым отправлена в Очамчиру. Вспоминает абхазский большевик Н. И. Матарадзе:

«Городок заволновался. Скоро стало известно, что судно принадлежит бежавшему с севера от большевиков купцу А. Белякову. Мы (т. е. местные большевики — Г. Д., И. Л.), признаться, не придали появлению судна никакого значения. Купец отправился с предложением сам в городскую управу, но там «не сошелся в цене». Каково же было наше удивление, когда он — Беляков — появился в лавке Павла Бигвава, который, просидев несколько месяцев в тюрьме, после освобождения для того, чтобы представиться вполне беспартийным человеком, сделался мелким торговцем, оставаясь в действительности активным большевиком и председателем нелегального Кодорского участкового комитета РКП(б). «Купец» Беляков оказался таким же «купцом», каким «лавочником» был Бигвава. Вся выручка от продажи соли должна была пойти на нужды Сухумской окружной большевистской организации. Но кроме соли Беляков привез нам и другой драгоценный подарок — под солью на судне были спрятаны в большом количестве московские большевистские газеты, в которых мы так нуждались. Мы снова могли читать статьи В. И. Ленина. Радости нашей не было границ». (Н. И. Матарадзе. Страницы прошлого (Воспоминания старого коммуниста). Абгосиздат, 1957, с. 41—42).

Так работал в Сухуме и Абхазии ленинский посланец. К лету 1919 года окружная организация окрепла: она насчитывала 32 ячейки с 320 членами партии. В конце сентября последовал арест А. А. Белякова в Сухуме, через некоторое время он был переведен в тифлисскую тюрьму. Только в конце 1920 года Алексей Александрович по решительному требованию Советского правительства, предъявленному грузинскому меньшевистскому правительству, был освобожден из тюрьмы (наряду с другими большевиками) и вернулся в Москву.

5. НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФРОНТЕ

ПОЧТИ три года не видел Алексей Александрович Москву. Советская столица жила мощным ритмом республики, победоносных фронтов гражданской войны. Город встретил его шумом торговых рядов и трамвая, песнями красноармейских отрядов и друж-

ными коммунистическими воскресниками. После мертвящей одной ночи тифлисской тюрьмы Беляков во всю силу своих легких вдыхал воздух свободы и счастья своего народа.

За год пребывания в сухумской и тифлисской тюрьмах страшно соскучился по большому делу. Надо было строить новую социалистическую Россию. В октябре 1920 года вошел в управление Главтекстиля и одновременно стал редактором экономического отдела «Известий ВЦИК».

Владимир Ильич Ленин был искренне рад благополучному возвращению А. А. Белякова в Москву, 19 октября 1920 года Алексея Александровича в Кремле принял вождь партии. Разговор был коротким и важным: говорили о проблемах восстановления текстильной промышленности, коснулись проблем меньшевистской Грузии и Абхазии, путей освобождения их от белогвардейских и интервенционистских сил. (В. И. Ленин. Биохроника, т. 9, М., 1978, с. 385).

В. И. Ленин внимательно следил за широкой экономической и журналистской деятельностью своего друга и земляка. 5 мая 1921 года Алексей Александрович опубликовал в «Известиях ВЦИК» свою статью «А воз и ныне там!» В ней он писал, что из-за формализма и волокиты Нарофоминская текстильная фабрика, пущенная в ход в феврале того же года, не обеспечена топливом и действовала только один месяц. В статье резко ставился вопрос о необходимости скорейшего пуска фабрики. Ее прочитал Ленин, сразу же последовала его записка помощнику управделами Совета Труда и Обороны (СТО) В. А. Смольянинову: «Обращаю Ваше внимание на статью (на днях в «Известиях»...) Белякова о Нарофоминской мануфактуре. Соберите всю прежнюю полемику об этом. Вникните. Изучите данные. Скажите мне итог. Дело, кажись, важное». В результате указаний В. И. Ленина и принятых мер по доставке топлива Нарофоминская фабрика заработала. (В. И. Ленин. ПСС, т. 52, с. 181, 399; В. И. Ленин. Биохроника, т. 10, М., 1979, с. 388—389).

В конце октября 1921 года Алексей Александрович направил на имя В. И. Ленина письмо. В нем он жаловался на волокиту в связи с созданием Чрезвычайной комиссии СТО по утилизации и учету металлолома. Беляков предлагал быстро собрать и учесть огромные запасы металлолома и сырья, снабдить ими кустарей и получить от них «готовые изделия для деревни». 28 октября Ленин ознакомился с письмом и написал записку управделами Со-

вета Народных Комиссаров Н. П. Горбунову: «т. Горбунов! В чем дело? Из-за чего волокита? Прочтите и скажите мне сегодня же». (В. И. Ленин. ПСС, т. 53, с. 307; В. И. Ленин. Биографическая хроника, т. 11, М., 1980, с. 547).

Из всех этих фактов следует, что дружба и деловые контакты между В. И. Лениным и А. А. Беляковым продолжались более тридцати лет.

В течение двух лет (1921 — 1923) Алексей Александрович находился на крупной экономической работе в Бухарской Народной республике. Он восстанавливает там ряд текстильных предприятий, укрепляет хлопководческое хозяйство республики. От БНР делегируется на III конгресс Коминтерна в Москву.

Когда умер великий Ленин, Беляков был в числе тех многих миллионов, кто оплакивал эту невосполнимую потерю и клялся отдать свои силы до конца за дело революции. Долгие годы в семье А. А. Белякова хранился этот маленький кусочек картона: «Пропуск 817. Тов. Беляков А. А.

На право прохода в Дом Союзов (партер) и на Красную площадь для участия в похоронной процессии Председателя СНК Союза ССР и РСФСР В. И. Ульянова (Ленина).

Председатель Комиссии ЦИК СССР по организации похорон Ф. Дзержинский».

Ныне этот документ хранится в Музее Октябрьской революции в Ленинграде.

Ряд лет А. А. Беляков возглавлял успешно крупное текстильное предприятие «Красный Восток» в городе Зарайске Московской области. Одновременно работал в обществе «Долой неграмотность», в журнале «Журналист». В январе 1925 года большая группа рабочих и техников «Красного Востока» направила ему приветственное письмо: «Мы были свидетелями возникновения и роста предприятий «Красный Восток» исключительно благодаря Вашему уменью и энергичному руководству. На наших глазах из разрушенной и заброшенной фабрики в Зарайске Вами создана мощная производственная единица, собравшая две с половиной тысячи рабочих и снабжающая своей продукцией широкие трудящиеся массы нашей необъятной Советской страны... Вы с честью вышли победителем на хозяйственном фронте и не на словах, а на деле способствовали великому делу восстановления хозяйства Республики Советов. Мы гордимся сотрудничеством с Вами, коммунистом-ленинцем...» (фонды Ленинградского музея Октябрьской революции).



Шел 56-й год жизни. Неустанная работа в партии, в по-
полье, в революции, на стройках, пять арестов, тюрьмы и
ка подорвали могучее здоровье Алексея Александровича. Он пе-
реходит на научную работу в Институт В. И. Ленина, начинает
писать воспоминания.

Летом 1927 года, когда резко обострилась международная
обстановка, трудящиеся СССР начали проводить массовые сбо-
ры денег на строительство отечественной авиации. Тогда же ра-
бочие, техники и инженеры фабрики «Красный Восток» на свои
деньги построили одномоторный самолет и назвали его: «Добро-
лет. Самолет имени А. А. Белякова». На массовом митинге по
случаю передачи самолета военлетам с яркой речью выступил
Алексей Александрович. Он говорил о своих встречах с В. И. Ле-
ниным, совместной борьбе в рядах Коммунистической партии, о
недаром прожитой жизни. А рабочий-поэт А. Демяник посвятил
этому событию целую поэму. Приведем из нее некоторые строки:

Красновостоковцы!

Глядите на плоды своих трудов,
Кто эту птицу создал — бич врагов,
Орла могучего, предвестника побед,
Которые грядут за нами вслед...

Лети же и рви границы всех оков,
В награду же тебя звать будем «Беляков»...

Это было последнее публичное выступление А. А. Белякова.
16 октября 1927 года оборвалась жизнь этого борца-революцио-
нера, человека из легенды.

Только два года своей богатой и интересной жизни отдал
А. А. Беляков Абхазии и Грузии, и еще далеко не все известно,
что он сделал для Закавказья. Поиск начат, поиск будет про-
должен.

Ленинград—Москва—Сухуми.
Август-сентябрь 1982 г.

Роберт Стуруа, народный артист СССР, директор и главный режиссер театра им. Ш. Руставели. Родился в 1938 году. С 1961 года работает в театре им. Руставели, где осуществил более тридцати постановок.

КО ДНЮ

ГРУЗИНСКОГО ТЕАТРА

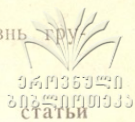
РОБЕРТ СТУРУА: О ТЕАТРЕ И О СЕБЕ

— Вам это не помешает?

— Наоборот, настроит на определенный лад. Прежде всего, Роберт, я хочу поблагодарить вас за возможность познакомить читателей с вами, одним из интересных режиссеров нашей страны. Сегодня, говоря о вашем театре, можно говорить об успехе, испытанном на прочность. Что вы скажете об этом?

— Успех... Ни один спектакль не ставился мною с установкой на успех. Хотя, конечно же, когда работаешь над спектаклем, мечтаешь о том, чтоб он зрителю понравился. Говоря об успехе нашего театра, не следует забывать о том, что это театр с богатыми традициями, связанными с именами таких больших режиссеров, как К. Марджанишвили и С. Ахметели. И еще — успеху немало способствует грузинский национальный характер. Для грузин театр — праздник, заключающий в себе различные сферы искусства и несущий в себе огромный интерес и любовь к театральным формам. Театр для грузина — духовная потребность, театально-

стью, в хорошем смысле этого слова, пронизана вся жизнь грузина — от рождения до смерти.



— Недавно мы завершили публикацию

Г. Асатиани «О грузинском». Ваше определение национального характера перекликается с тем, что тонко подметил и грузинский критик. Однако не все грузинские постановки пользуются такой широкой популярностью и успехом, как, скажем, ваши «Кавказский меловой круг» и «Ричард III». Чем объяснить ваш успех, не тем ли, что вы в своих спектаклях стремитесь быть созвучным времени?

— Возможно... Вы сказали — быть созвучным времени?.. Это качество, на мой взгляд, синоним таланта. Его не воспитаешь в себе, не привнесешь в спектакль, этим чувством надо быть проникнутым. Чувство времени... Пожалуй, без этого чувства не будет настоящего художника. И еще... Мы не боимся смелых, необычных решений, которые ставит перед театром Время.

— А как вы выбираете пьесы, и всегда ли актеры понимают ваш замысел сразу? Бывают ли случаи, когда вы берете что-то от актера? И несколько слов о взаимопонимании... Мне кажется, оно должно быть между вами и актерами.

— Хороших пьес много. Все не поставишь. Вот почему невольно происходит самый жесткий отбор. Лично для меня важнейшую роль при выборе пьесы имеет эмоциональный момент. И еще важно подойти к пьесе с позиции самой высокой гражданственности, почувствовать, что она сегодня зазвучит. Рассчитывать можешь только на сегодняшнюю труппу своего театра. Режиссер, в отличие от художника, не волен в выборе. Если художник может выбрать определенную гамму красок, размер холста и т. д., режиссер опирается на труппу своего театра, а тут очень важно убедить себя, вернее, понять, что это «твоя труппа». (Мне, например, на это понадобилось 15 лет). Тут решающую роль играет любовь. Лично для меня труппа во многом определяет выбор пьесы. Что же касается выбора актера, тут я придаю большое значение фактору «открытия» — одного из необходимых моментов в сценической жизни актера. Искать в актере новые грани и находить их — неперемнное условие при выборе актера на роль. И вообще театр должен удивлять — в хорошем смысле этого слова.

Вы спрашивали, всегда ли актеры понимают меня, мой замысел?.. Понимают... Я прихожу к ним с общей концепцией, а разрабатываем ее сообща. Человек несведущий, попав на наши петиции, может многое не понять. Рабочий язык наш странен, но мы понимаем друг друга с полуслова. Причем не только я и актеры, но и художник, и композитор.

Кстати, о художнике и композиторе... Я придаю оформительской и музыкальной стороне наших спектаклей самое большое значение. Я вообще считаю музыку (особенно в «Ричарде III») камертоном спектакля... А вы знаете историю постановки «Ричарда»?..

— Нет. Расскажите, пожалуйста.

— Когда мы поставили «Ричарда III», он нам вначале не понравился, и мы его сняли. Прошло три месяца, был готов новый монтаж, и мы возобновили работу. За полтора месяца подготовили новый вариант, тот самый, который играем. И тут немаловажную роль сыграла музыка. В первом варианте была японская музыка, во втором — регтайм (композитор Гия Канчели), который придал спектаклю оттенок сатиры, юмора и проици.

Наши спектакли в готовом виде нередко напоминают импровизацию. Но на репетициях режим у нас довольно жесткий, свобода есть — внутренняя и незаметная на первый взгляд. В молодости я стремился втиснуть спектакль в определенную, разработанную мною схему. Но теперь я прихожу с общим решением, мы пробуем несколько вариантов. И если актер убеждает меня в верности своего решения, я легко соглашаюсь с ним, не боясь поколебать свой авторитет. И когда мы выбираем один-единственный вариант — другие остаются, как в живописи: на полотне остаются слои красок, которые художник накладывает до тех пор, пока не добивается нужного эффекта.

— Вы так охотно обращаетесь к параллелям из живописи, что, вероятно, нам следует открыть читателям еще одну грань вашего таланта (я не боюсь этого слова) — то, что вы рисуете.

— Если бы не моя любовь к театру, занимался бы этим серьезно. Я несколько раз даже выставлялся.

— Не думали о персональной выставке?

— Нет, слишком сильно и серьезно занят театром.

— Вероятно, в вашей любви к театру немаловажную роль сыграли учителя.

— Я учился у режиссера М. Туманишвили. И очень признателен ему... А косвенные учителя — Мейерхольд и Бессон (он сейчас живет и работает во Франции).

— Кстати, ваш театр в позапрошлом году гастролировал во Франции. Вспомните, пожалуйста, что-нибудь связанное с гастролями.

— После гастролей в Италии наш театр дал несколько представлений во Франции в Папском дворце Кур д'Оперр. Газеты «Юманите», «Матен», «Паризьен», «Франс суар» и другие наградили наш театр эпитетами: незаурядный, зрелищный, яркий, живой, небывалый и, что особенно приятно и важно, отмечали, что наш успех — это результат многолетней работы целых поколений... По сей день не могу забыть ощущения, испытанного мною, когда мы играли на сцене Папского дворца «Кавказский меловой круг». Я всегда прошу актеров играть драму, а они почему-то играют комедию. А тут в Авиньоне дул «мистраль» — он и помог проявить в пьесе столь желанный эффект. Ветер развевал платя, и эта, казалось бы, незначительная деталь вдруг резко изменила ощущение от спектакля — внесла ноту драматизма.

— Какие вы испытываете чувства, когда выходите на сцену после оваций?

— Не люблю выходить на поклон. Мне неловко, я смущаюсь, одним словом, не умсую...

— В какой момент работы над спектаклем вы испытываете чувство удовлетворения?

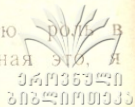
— Только в момент репетиций. Когда спектакль готов, он как бы переходит к актеру, и мне кажется, что он уже не мой.

— Вы тщеславны?

— Да, тщеславен, не боюсь в этом признаться.

— Сегодня очень много актеров серьезно занялись режиссурой. А вам, режиссеру, никогда не хочется играть, не было такого желания?

— Не было. Правда, я сыграл как-то маленькую роль в фильме О. Иоселиани «Жил певчий дрозд»... Вспоминаю это, я лишний раз убеждаюсь, что играть не буду.



— Сегодня в литературе остро стоит вопрос о том, «что должна делать литературная критика». А театральная, на ваш взгляд?

— Не мешать... Не ругать за смелые и необычные решения (если, разумеется, они в русле истинного искусства).

— В прошлом году в журнале «Новый мир» был опубликован диалог критика Льва Аннинского с писателем Юрием Трифоновым. Писатель обвинил критиков в «безнравственности», считая, что для того, чтоб самовыразиться, критик нередко выдергивает цитату и перекраивает ее по-своему, на что Аннинский отвечает, что «это не столько безнравственно, сколько, как говорили в старину, соблазн, которому мы поддаемся — мы все, кто занимается художественной литературой и ее обсуждением». Не поддались ли вы подобному «соблазну», когда решили ставить Брехта и Шекспира «по-своему»?

— Думаю, Трифонов имел в виду скорее критиков, создающих свою концепцию. В театре дело обстоит несколько иначе. Пьеса, написанная драматургом, как правило, остается, меняется подход к ней, ее прочтение. Да, критики нередко спрашивают, а не пострадал ли от нашего решения дух Брехта или Шекспира, от того, что мы внесли, скажем, в спектакль «Ричард III» детали, которых не было в пору Шекспира, и так далее. Я считаю, что спектакль сегодняшнего дня должен вызывать современные ассоциации, тем более, что Шекспир, на мой взгляд, очень даже актуальный и современный драматург. Знаете, с чем не могу примириться? Почему-то кино дозволено такое, не будем повторять формулировку Ю. Трифонова, а скажем—«смелое» вторжение в произведение писателя. А мы в театре вовсе не покушаемся на пьесу драматурга, мы лишь создаем свой монтаж пьесы, не внося в текст никаких изменений, ничего не прибавляя. Я не считаю, что все должны понять и принять сегодняшнюю стилистику нашего театра, его эстетику. Но театр имеет на это право, тем более, это в специфике грузинского национального театра. Зритель ждет эмоционального зрелища, которое невозможно без смелых театральных форм. Не следует также забывать о том,

что зрителю в театре не должно быть скучно. Вот почему, на мой взгляд, в наших спектаклях оправдана смешанность жанра — психологическая напряженность, и фарс, и трагедия, и музыкальные куски. К чести нашего театра мы умеем отказываться от того, что не нравится нам или мешает общей конструкции спектакля. Так мы отказались от двух неплохих сцен из «Кавказского мелового круга»... К Брехту я обращался, можно сказать, два с половиной раза... Мы ставили «Добрый человек из Сезуана», а одну сцену из «Карьеры Артура Уи» я включил как коллаж в спектакль «Кваркваре». Но, видимо, в первых случаях ни я, ни актеры не были подготовлены к такому прочтению Брехта, которое пришло к нам в дальнейшем, в «Кавказском меловом круге»...

— Брехт... Шекспир... Их уже можно назвать «вашими» драматургами. Кого еще вы смогли бы назвать?

— Наш театр сейчас на ремонте, он откроется через два года. Мы намерены тогда показать сразу десять новых спектаклей, своего рода ретроспекцию — от классики до современных пьес. Первый раз обращаюсь к Мольеру, хочу поставить «Дон Жуана» или «Мизантропа». Я рад возможности обратиться к Мольеру, я шел к нему долго, через многие серьезные раздумья.

— Вы сказали, что играть в кино не будете. Однако, насколько мне известно, вас в кино все-таки «потянуло».

— Есть такой грех. Я написал сценарий, который уже утвержден. Это фильм о провинциальном театре, хотя сам театр будет показан на экране минут 10, не более. Фабула проста — в провинциальный театр приезжает молодой режиссер. И вот в течение 48 часов в городе происходят невообразимые события, связанные с тем, что хотят убрать главного режиссера, представителя старой актерской школы, и назначить молодого. В финале оба режиссера покидают театр. Фильм — откровенный — о людях искусства, о страстях, герои в основном люди благородные.

— Думали ли вы конкретно о том, кто будет играть ту или иную роль?

— Работая над сценарием, я имел в виду нашу театральную труппу. Кажется, я говорил вам, что придаю большое значение фактору неожиданности. Вот почему в конце концов я решил пригласить совершенно не известных зрителям актеров. И еще я

написал два оперных либретто (композиторы Бидзина Квернадзе и Гия Канчели). Первое либретто — по произведению грузинской агнографической литературы «Мученичество святой Шугиани». События происходят в день убийства Ильи Чавчавадзе. Сам спектакль по «Мученичеству» ставится в салоне силами любителей сцены. Финала этого спектакля зритель не видит, поскольку в определенный момент вбегает один из героев и объявляет об убийстве великого грузинского поэта. Во второй опере разворачиваются события XX века. Основная идея?.. Во всех жизненных переживаниях человек должен оставаться человеком.

— А искусство, кстати, играет в этом немалую роль. Каким видится вам театр ближайшего будущего? Вероятно, говоря об этом, не следует забывать и о генезисе духовного мира художника.

— Разумеется... Искусство — это прежде всего отражение духовного мира художника. Что же касается искусства будущего... Трудно прогнозировать. Театр живет сегодняшним, важно сегодня, именно сегодня попасть в цель, увлечь зрителя. Театр, повторяю, феномен сегодняшнего дня, однако он не может стоять на месте, он, конечно же, будет меняться. Как именно? Трудно предугадать. Время диктует свои задачи. Но одно несомненно — мы должны оставаться верными служителями Театра.

Беседу вела Виктория ЗИНИНА



«ЗА
ВАШЕГО
ОТЕЛЛО
КЛАНЯЮСЬ
ДО ЗЕМЛИ...»

Письма деятелей советской русской литературы и искусства Акакию Хорава, с именем которого связана целая эпоха в истории грузинского театра, еще одно подтверждение тому, какой популярностью пользовался грузинский актер не только среди зрителей, но и среди требовательной художественной интеллигенции и специалистов.

Письма публикуются впервые (кроме писем В. Качалова и его жены, режиссера и актрисы Н. Литовцевой, а также отрывка из письма проф. М. Морозова). Некоторые из них печатаются с незначительными сокращениями. Подлинники писем хранятся в Государственном музее театра, музыки и кино Грузинской ССР (фонд Акакия Хорава).

3 октября 1936 г.

Дорогой мой Акакий!

Твоим исключительно теплым и чутким письмом ты окончательно покорил меня.

Ты знаешь, что я всегда любил тебя как Человека с большой буквы и преклонялся перед твоим огромным талантом. Каждая твоя театральная победа, а их было немало, искренне меня

радовала. Ты, дорогой Акакий, один из больших мастеров нашей любимой родины, которые так нужны всему трудовому народу.

Большое, большое товарищеское спасибо!

Я постараюсь оправдать твои надежды и провести этот сезон удачно. Как будто бы у нас есть хорошие актеры и, следовательно, должен быть театр.

Моя твердая точка зрения, что в театре один хозяин и имя ему Актер...

Желаю вашему прекрасному, темпераментному театру большого успеха в новом году! С огромным нетерпением и волнением буду ждать твоего Отелло. Не хочу быть пророком, но почти что уверен, что это будет одним из выдающихся явлений в советском театре за все годы его существования.

Еще раз благодарю от имени нашего коллектива.

Дружески обнимаю и целую обаятельного, чуткого товарища и большого мастера советского театра.

Всегда твой Котик Азизов!

11 декабря 1938 г.

Многоуважаемый и дорогой Акакий Алексеевич!

Мне было очень жаль уезжать из Тбилиси, не попрощавшись с Вами. Я заходил в Ваш театр, но мне сказали, что Вы на репетиции «Человека с ружьем».

О встречах с Вами у меня сохранилось самое хорошее воспоминание. Ваши слова о героическом театре, о необходимости экспериментировать в области искусства были мне очень по душе. Как бы ни были велики заслуги нашего Художественного театра, сейчас он никак не может служить образцом для подражания. Да и вообще, как известно, подражание обычно не доводит до добра. Руставелевцы, во всяком случае, в этом не нуждаются.

Спасибо Вам за внимание и за портрет. У тов. Мургулия² я еще забрал фото, на котором Вы изображены вместе с Васадзе («Отелло»). Если во время пребывания в Москве у Вас будет время и желание заглянуть ко мне — буду очень рад.

Москвичи ждут приезда Вашего театра. Приезжайте обязательно, привезите «Отелло», «Без вины», «Арсена», «Из искры» (подправив вьесу), «Поколение героев» и «Человека с ружьем».

¹ Шах-Азизов Константин Язонович, видный театральный и общественный деятель, заслуженный деятель искусств ГССР.

² Поко Леванович Мургулия — заслуженный деятель искусств ГССР, в 1938 году был директором театра им. Ш. Руставели.

Хорошо бы прихватить «Анзора» и «Разбойников». Эти постановки давно Москва не видела. Чем это Вам не репертуар?

Крепко жму Вашу руку и прошу передать привет всем Вашим добрым знакомым. Желаю новых успехов.

Уважающий Вас

Виктор Гольцев.

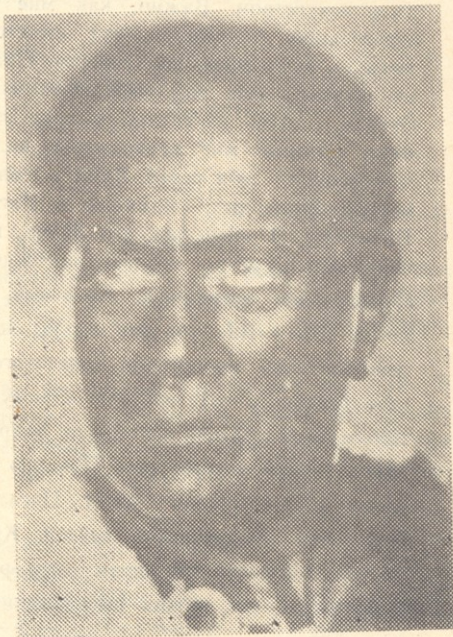
1 февраля 1942 г.

Хочу сказать Вам, дорогой Акакий Алексеевич, что давно не уносил из театра такой большой, освежающей душу радости, какую вчера дал мне Ваш «Отелло». Давно, может быть, со времен молодого Шляпина. Спасибо Вам за эту радость.

Крепко жму Вашу руку и руку партнера Вашего, А. А. Васадзе — великолепного Яго. Обоим Вам кланяюсь низко, а Вам за Вашего Отелло кланяюсь до земли.

Василий Качалов.

Позвольте мне, дорогой Акакий Алексеевич, поблагодарить Вас за то огромное художественное волнение, которым Вы подарили нас.



А. Хорава в спектакле театра им. Ш. Руставели «Отелло».

За свою длинную жизнь я видела многих Отелло, включая самых больших гастролеров, но такой глубокой, живой артистической радости, как от Вас, особенно в сценах зарождения подозрения и сомнения в Дездемоне, я в прошлом не припоминаю.

От всего сердца благодарю Вас.

Глубоко почитающая Вас **Нина Литовцева.**

2 сентября 1944 г.

Дорогой Акакий Алексеевич!

Большое спасибо за Ваше теплое письмо. Большой радостью было для меня узнать, что Вы работаете над ролью Лира. Я глубоко убежден, что вот такие монументальные образы являются Вашим подлинным и большим делом. Чем дальше в прошлое уходит спектакль «Отелло», тем значительней, поэтичней (в истинном значении слова) и красочней кажется мне созданный Вами портрет «Черного человека». Так и должно быть всегда с настоящим искусством. Важно, как мне думается, не столько первое впечатление, сколько то, что остается. Тут решает память. «Память — мать муз», как говорил Платон. И я теперь, через призму времени, еще раз убеждаюсь в том, что Ваше исполнение Отелло — одно из самых прекрасных и значительных явлений театра, которые мне приходилось видеть. Говорю от всей души: я чувствую себя перед Вами в долгу. Пока мог отплатить очень малым. Во-первых, упоминаю о Вас на каждой своей лекции по Шекспиру. Я очень рад, что ВОКС, где я состою в бюро театральной секции, решил создать посвященную Вам маленькую монографию для заграницы. По-моему, просто необходимо, чтобы после войны Вас увидели бы в Лондоне и Нью-Йорке. Вот это действительно пропаганда советского искусства! Читали ли Вы мою статью в «Литературе и искусстве» месяца два-три назад? Кроме этой статьи, я гораздо подробнее писал о Вас в «Интернациональной литературе». Пришло номер, когда выйдет (это издание на английском языке). Писал о Вас статью через информбюро для американской печати. Кроме того, А. Н. Пагава¹ заключил с нашим кабинетом договор на работу о Вас. Дайте ему побольше цитат, ваших высказываний о ходе работы над ролью.

¹ Акакий Несторович Пагава — известный грузинский театральный деятель, театровед, режиссер, педагог.

Крепко жму Вашу руку.

Искренне и навеки Ваш

М. Морозов



30 июля 1947 г.

Дорогой Акакий Алексеевич!

Пользуюсь случаем и на ходу, через Мишу, шлю Вам свой большой привет.

Хочется еще раз Вас поблагодарить за Вашу беседу, которую мой коллектив помнит и действительно постарается сделать знаменем в своей работе.

Ставим «Как закалялась сталь» к 30-летию. Хочется эти принципы «большого дыхания» в искусстве, о которых Вы так замечательно говорили, провести в жизнь. Посмотрим!

Ну, желаю Вам всего хорошего, личных больших актерских успехов.

Всегда буду Вам обязан за Ваше исключительное к себе отношение, так проявившееся в Ваш последний приезд.

Большой привет Нине Сардионовне² и всем товарищам, которые еще меня помнят.

Еще раз будьте здоровы.

Уважающий Вас

Гоги Товстоногов³.

10 декабря 1947 г.

Дорогой Акакий Алексеевич!

Посылаю Вам пригласительный билет на свой первый московский спектакль, на котором Вы, к сожалению, не могли быть. Спектакль был очень ответственный, но как будто все прошло благополучно.

Мне так хотелось, чтобы Вы его видели, потому что он в традициях наших институтских спектаклей, в плане тех наших бесед о театре и искусстве, которые мы с Вами вели. В нем масса недостатков, но, как мне кажется, есть и нечто принципи-

¹ Морозов Михаил Михайлович — русский советский литературовед, театровед, театральный критик, педагог, переводчик. Один из лучших знатоков творчества Шекспира.

² Нина Сардионовна Алекси-Месхшвили — супруга А. А. Хорава.

³ Товстоногов Георгий Александрович.

альное, то зерно, которое, быть может, еще даст настоящие ростки.

Когда Вы приедете в Москву? Очень, очень хотелось бы с Вами повидаться.

Как Ваша работа над Лиром? Ваши замыслы меня глубоко взволновали, и очень бы хотелось поскорее увидеть их реализованными.

Как дела в институте? Как молодые режиссеры? По-моему, из них выйдет настоящий толк, если Вы им поможете.

Большой привет Нине Сардионовне и всем товарищам из театра Руставели и Театрального института, которые еще меня помнят и не поминуют лихом.

Крепко жму Вашу руку.

Всегда уважающий Вас

Гоги Товстоногов.

17 июня 1949 г.

Дорогие Акакий Алексеевич и Инна Сардионовна!

Нет слов, чтобы сказать, как нам было тяжело узнать о несчастье, постигшем театр¹, вернее сказать, постигшем нас вместе с Вами, потому что театр Руставели для нас — самый близкий и дорогой, это большой кусок нашей жизни. Вот почему было так трудно собраться написать Вам.

Понимаем, дорогой наш Акакий Алексеевич, что вы переживаете: и театр, и институт! Но не сомневаемся, что правительство и общественность сделают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить все то, что можно восстановить. И хочется сказать Вам, что все москвичи — и театральные деятели, и просто зрители Ваших гастролей, — с которыми нам довелось говорить о происшедшем несчастье, потрясены глубоко и скорбят от всей души. Я позволю себе сказать Вам, что в эти печальные дни все советские люди с Вами и каждый хотел бы помочь театру всем, что в его силах.

Желаем Вам бодрости, сил душевных и физических, чтобы скорее оправиться от перенесенного удара, чтобы скорее восстановить то замечательное дело, которое так нужно всем нам.

Русудана² и я крепко обнимаем Вас, дорогие!

Ваш А. Февральский.

¹ 10 июня 1949 г. в здании театра им. Руставели возник пожар, который нанес большой ущерб и театру, и Государственному театральному институту им. Ш. Руставели.

² Русудана Ясоновна Алексишвили — жена А. Февральского.

Многоуважаемый Акакий Алексеевич!

Извиняюсь за беспокойство. Я хочу просить Вас ознакомиться с пьесой А. И. Липовского «Грозное оружие». Пьеса эта принята к постановке в Москве и она действительно заслуживает большого внимания.

Я считаю, что Вы могли бы хорошо исполнить роль В. Маяковского, и я была бы рада, если бы Вы взялись за это дело.

С уважением и приветом

Л. Маяковская.

Дорогой Акакий!

...С Н. П. Охлопковым беседовал дважды. Он очень рад возможности работать с таким Макбетом, как Хорава — «лучшим советским, а пожалуй, и мировым актером» (беру в кавычки, ибо это его подлинные слова). Теперь практически 10 октября он сдает «Грозу» и сразу же приступает к «Гамлету», о котором мечтает и внутренне готовится с 1943 года. «Гамлет», по его расчетам, может выйти в марте. С конца апреля он может приступить к работе у вас. Но к этому, как ты лучше меня знаешь, он должен как следует подготовиться, ибо, повторяет он, постановка «Макбета» с таким актером, как Хорава, должна быть выдающимся событием в советском театре. Он полагает, что до его приезда в Тбилиси ему необходима встреча с тобой в Москве.

Естественно, что я ничего конкретного сказать ему не мог. Но желание ставить «Макбета» и именно с тобой — у него большое. Это растрогало его, взбудоражило. При втором свидании с ним, которое состоялось вчера, я понял, что он уже думает о многом, говорит о художнике (может быть, Рындине), спрашивает, кого бы было поинтереснее пригласить для музыки. Во всяком случае я лично глубоко верю, что мы, зрители, обязательно увидим академию искусства театра: Макбет—Хорава—Охлопков.

Если решишь позвонить Охлопкову (он этого хочет), то его домашний телефон Б 8-96-06.

Ну, кажется, все. Привет и лучшие пожелания Нине.

Лазарь¹.

(Письмо без даты).

¹ Лазарь — Бернштейн Лазарь Михайлович, журналист.

Акакний!

Ты молчишь, а я не знал, что мне надо было ответить Николаю Павловичу... Дело в том, что я запомнил — говорил ли я тебе при телефонном разговоре о том, что Охлопков должен уже начинать работать над «Макбетом», но для этого ему необходимо проделать большую и сложную работу по подготовке, а именно: он нуждается в подборе и классификации различных библиографических материалов, книг, трактовок «Макбета», отзывов об игре актеров и т. д. Тут речь идет, пожалуй, о научном секретарстве, о котором он и просил меня. Только располагая полным подбором таких материалов, он сможет вплотную начинать свою работу постановщика. А сейчас по срокам уже наступило время. Я сказал ему вчера, что мне самому неудобно говорить с тобой об этом. Он был очень недоволен и просил меня немедленно позвонить тебе, но я решил написать. Может быть, ты сочтешь за более удобное и лучшее, если этим займется ВТО? Тогда надо срочно написать в ВТО от имени театра письмо, в котором, сообщив, что театр имени Руставели все оплатит, просить выполнить работу по подбору материалов о «Макбете», связавшись о деталях с Охлопковым.

Извести меня, пожалуйста, самым срочным порядком о твоих указаниях, а то я в самом деле нахожусь в каком-то глупом положении, ибо не знаю ничего о твоих планах, желаниях и предложениях.

Привет и лучшие пожелания.

Лазарь.

Москва, 20 декабря

Дорогой Акакний!

Содержание твоего письма я передал Н. П. Охлопкову. Он заявил: о художнике сейчас думать рано, ибо я не принадлежу к тем режиссерам, которые ждут от художника подсказки. Художник у меня выполняет мой заказ, а для того, чтобы я этот заказ дал, я должен исчерпывающе ознакомиться с материалами о трактовке и исполнении «Макбета».

Итак, нужно, чтобы ты срочно написал Покровскому¹ письмо приблизительно следующего содержания:

¹ Покровский Александр Васильевич — заместитель председателя президиума ВТО.

«Театр им. Руставели будет ставить «Макбета». Постановка поручена Н. П. Охлопкову. Театр просит подобрать для Н. П. критические и иконографические материалы о «Макбете», высказывания об этой трагедии классиков, критиков, режиссеров, советских шекспироведов, а также историю постановки «Макбета» в иллюстрациях. Работа по подбору материалов будет оплачена театром им. Руставели».

Как только Покровский получит такое письмо, он отдаст распоряжение товарищу, ведающему этим делом в ВТО, тот свяжется с Охлопковым, и работа пойдет. Так что не задерживай и шли такое письмо немедленно, ибо от этого зависит начало работы Охлопкова.

Пьесу Софронова ты, вероятно, уже получил?

Привет и лучшие пожелания накануне Нового года.

Ноябрьскую зарплату получил, спасибо.

Лазарь.

Многоуважаемый Акакий Алексеевич!

Как Вы уже знаете, я приступил к постановке фильма о Я. М. Свердлове.

Вы, как худ. руков. Вашего театра, оказали нашей картине дружеское содействие, отпустив к нам сниматься Вашего молодого актера тов. Кобаладзе!

Теперь я обращаюсь к Вам с просьбой о творческой помощи.

В нашем фильме, впервые в кинематографе, показан Владимир Маяковский, и я очень хочу, чтобы эту роль сыграли Вы, уважаемый Акакий Алексеевич.

Ваш блестящий актерский талант плюс Ваше внешнее сходство с поэтом Маяковским дают мне полную уверенность, что Маяковский в фильме получится очень хорошо.

В смысле времени, думаю, это будет не очень сложно для Вас, т. е. в начале июня предстоит натуральная съемка 3—4 дня в Ленинграде, сцена «1917 г. Приезд т. Ленина» и потом осенью — в августе или сентябре — павильон, сцена «1918 г. Кафе поэтов».

Конечно, если Вы дадите согласие на участие в нашем фильме, мне бы хотелось Вас видеть немного раньше, т. е. в конце

¹ Кобаладзе Андро Александрович — актер театра им. Марджанишвили, в те годы работал в театре им. Ш. Руставели. Заслуженный артист СССР.

мая, чтобы договориться о гриме, костюме и вообще побеседовать с Вами на творческие темы.

Жду с нетерпением Вашей телеграммы.
Уважающий Вас

Сергей Юткевич.

(Письмо без даты).

16 апреля 1947 г.

Дорогой Акакий Алексеевич!

Я понимаю, как тебе сейчас не до меня, и живо представляю, как ты досадливо поморщился, развернув это письмо... Но вынужден спрятать свое «самолюбие» в карман и все же просить тебя прислушаться к моим мольбам...

У меня, к сожалению, создалось полное впечатление, что ты не хотел мне помочь, но, как человек вежливый, сделал это в деликатной форме. Поэтому мне так трудно написать это письмо, так как слишком хорошо понимаю, сколько у тебя действительно уважительных причин, чтобы еще раз отказать мне, но у меня безвыходное положение и сейчас я просто умоляю о дружеской, товарищеской помощи!!!

...Твой отказ приехать на несколько дней раньше ставит меня и мою картину под угрозу моральной смерти... У нас нет и не может быть другой кандидатуры на такую роль, как Маяковский, а вычеркнуть ее из фильма — это значит лишиться души, жизни, идеи...

Я понимаю, для тебя это только эпизод, а для меня не только эскиз будущей роли, будущего фильма, о котором мечтаю, но и вопрос личной судьбы...

Мне нужна сейчас твоя помощь, не только как художника, но и как человека — не откажи мне в ней — я умоляю тебя!!!

Очень любящий и верящий в твою чуткость

Сергей Юткевич.

27 декабря 1953 г.

С Новым годом, дорогой друг!

Сегодня, наконец, начали перезапись твоего голоса... Перестраховщики на студии, несмотря на мой приказ перед отъездом, ничего не сделали, и был потерян целый месяц... Я вернулся, поднял скандал и вот теперь дорогой ценой задержки фильм выпускаю на экран, все-таки делаем так, как нам обонм хотелось... Съездил замечательно (надеюсь, ты получил телеграмму?),

Руководящие товарищи просили тебя поцеловать, обнять, поблагодарить, поздравить и прочее и прочее... Фильм имеет успех оглушительный — это вылилось в народный праздник, в демонстрацию любви и дружбы к Советскому Союзу... В Тиране картина идет в двух кино с 8 ч. утра до ночи и к нашему отъезду уже 80 тысяч зрителей просмотрели наш труд — смотрят по 3—4 раза, плачут, хохочут, аплодируют, ревут, кричат, в общем невозможно описать все реакции зрительного зала... Мы опять объездили все города со вторым экземпляром фильма, и всюду было волнительно и трогательно до слез... Пресса две недели печатала помимо рецензий замечательные отзывы зрителей (в одном тебя просто называют гением!!!). Пишут стахановцы, крестьяне, солдаты, профессора, актеры, юные «скандербеговцы» — словом, народ!!! Владеющие русским языком прислали нам письма — твою порцию высылаю тебе! У нас фильм выйдет на экраны, очевидно, в конце января. Целую и обнимаю тебя крепко, желаю и в новом году творческого счастья, здоровья и веселости — не забывай очень любящего тебя, совершенно замученного и усталого Сергея.

Многоуважаемый Акакий Алексеевич!

Фильм вышел на экраны с твоим голосом (как мы оба этого хотели!), хотя из-за этого он задержался выпуском и я сам произвел новую перезапись и уничтожил старую фонограмму с чужим голосом... Много хорошего услышал я и прочитал в твой адрес по поводу фильма, в который вложено так много нашего труда и крови, и это неизменно радовало меня, ибо ты знаешь слишком хорошо, как высоко ценю я твой могучий талант и как всегда дорожил нашей творческой дружбой...

Желаю дальнейших успехов.

Сергей Юткевич.

P. S. У меня отложены для тебя выдержки из албанской прессы (в русском переводе) — если поинтересуешься — перешлю. В Албании мне официально сообщили, что ты представлен к высшему ордену — «Ордену свободы» первой степени...

Заранее поздравляю!

С. Ю.

(Письмо без даты).

16 марта 1956 г.

Дорогой Акакий Алексеевич! Не подумайте, что я Вас забыл. Я верен в дружбе до конца. Когда было получено приглашение

юбилейной комиссии, меня не было в Москве. Я был в доме от-
дыха писателей в Переделкино, а когда вернулся в середине
февраля, заболел тяжело и только теперь очнулся.

С шестидесятилетием я Вас не могу поздравить. Если бы Вы
смогли сбросить со своих плеч тяжесть годов, тогда дело другое.
Но молодость понятие не столько биологическое, сколько мораль-
но-психологическое. И я знаю молодость Вашего духа, Вашего
восприятия жизни, Вашего отношения к миру. С этой обязанно-
стью, с этим даром пожизненной молодости, без которого нельзя
создать ничего значительного в искусстве, я Вас с радостью, со
всей теплотой своего сердца поздравляю и желаю никогда не по-
кориться старческой усталости, ложной мудрости годов, старче-
ской надменности. Желаю Вам избегать общества людей масти-
тых и деловых и чувствовать себя хорошо и удобно в обществе
молодежи.

У Гайдара есть прелестная сказка «Горячий камень». В ней
рассказывается, как одинокий старик, сельский сторож, отказал-
ся от предложения омолодиться, чтоб начать свою жизнь сначала.
Ему переломило ногу, когда он в молодости строил с товарища-
ми баррикады. Ему вышибли зубы, когда он пел в тюрьме рево-
люционные песни. В бою ему шашкой рассекли лицо. Но он до-
жил до победы. Что ж! Может он переменить такую жизнь на
другую? На что ему другая молодость, когда вся его жизнь про-
шла ясно и честно? Так и сам Гайдар, когда у него было плохое
настроение, однажды подумал, не начать ли ему жизнь сначала,
но вовремя одумался. «Э-э! — думаю, скажут, увидав меня помо-
лодевшим, соседи. — Вот идет молодой дурак! Не сумел он, вид-
но, одну жизнь прожить так, как надо, не разглядел своего сча-
стья и теперь хочет то же начинать сначала».

Стало быть, дело не в возвращении молодости, а в том, чтоб
не чувствовать тяжести годов, чтоб **разглядеть** великое счастье
прожитой жизни и **не покориться** старости, чувствовать и впредь
себя молодым и вести себя сообразно такому самочувствию.
Вот сегодня в «Правде» (кончаю письмо 23/III) напечатаны стихи
Асеева «Вспомним свои молодые годы». Хорошее стихотворение.
Но не вспоминать надо молодые годы, не возвращаться к мо-
лодости, а продолжать молодость, вернуть самочувствие юности,
тряхнуть молодостью (а не старинной).

Вот этого самочувствия, единственно достойного человека, я
Вам от всей души и желаю. Горячих боев, трудных достиже-
ний, победы в результате смелого и героического преодоления ве-
личайших препятствий и трудностей...

...В интересное и трудное время мы с Вами живем, дорогой Акакий Алексеевич! Но разве можно пожелать переменить нашу эпоху, со всеми ее бурями и трагизмом, на другую, более покойную?!

В театре сейчас крайне неблагоприятно. Творческий кризис всюду как следствие отрыва от жизни, культурной и политической, отсталости режиссеров и актеров. Театральные деятели всю вину возлагают на советских драматургов, хотя сами ничего не сделали, чтобы стимулировать создание драматургических произведений, достойных эпохи. Мы не имеем ни одного спектакля, продвигающего вперед творческую мысль советского театра и вдохновляющего народ. Ведущие советские режиссеры остановились в своем творческом развитии, застыли в самодовольстве, примирились с творческой беспринципностью театров. Они перестали искать, добиваться высших ступеней мастерства в постановке спектаклей, перестали совершенствовать свое искусство. Они не проявляют усилий, чтоб вывести театр из тупика. Если не удастся пробудить творческую совесть, чувство моральной исторической ответственности перед народом, театром, человечеством, своей собственной жизнью у тех режиссеров, которые способны преодолеть свою усталость, скептицизм, равнодушие, самодовольство, то надо строить новый театр, опирающийся на наиболее талантливых режиссеров и актеров из молодежи, понимающих свой политический и художественный долг перед народом. Необходим перелом, и притом сегодня. Завтра будет поздно. В тираж выйдут безответственные и легкомысленные «мастера», не замечающие, что жизнь требует подвига и страсти и не терпит застывшего самодовольства, а также многие актеры всех возрастов (в том числе и «новая» молодежь), накапливающие ремесленные навыки и не заботящиеся о своем духовном богатстве...

Я отдохнул душою в Переделкино, побывав у Назым Хикмета, который там живет. Вот это настоящий современный художник, молодость и смелость его души может угасить только смерть. Я вижу художника такого типа и в Вас. И тайно, про себя надеюсь на Вашу победу и стойкость.

Как живете, дорогой Акакий Алексеевич, о чем думаете, что Вас тревожит?

Буду с нетерпением ждать Вашего ответа. Но отвечайте не по обязанности, а по велению сердца, когда захочется душе.

Обнимаю Вас.

П. Новицкий.

21 марта 1958 г.

Дорогой Акакий!

Примите мои самые добрые пожелания побед и успехов в открывшейся сегодня декаде и мое невыносимое горе, что не смогу увидеть спектаклей тбилисских театров и повидать дорогих мне людей, добрые отношения которых я всегда высоко ценю и отвечаю прочной взаимностью. Инфаркт, который всегда наступает нас неожиданно, вот уже третий месяц держит меня в постели и только в первых числах апреля я сумею выехать в санаторий.

Шлю свои сердечные приветы и поздравления всем руставелевцам, ежели кто меня помнит.

Вас постоянно и крепко люблю и неизменно преклоняюсь перед Вами.

Всеволод Аксенов.

31 марта 1958 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Акакий Алексеевич!

Позвольте поблагодарить Вас за огромную радость, которую доставил нам Ваш Эдип. Великий образ, созданный Вами, совершенство всего спектакля, точно найденный стиль актерской игры, лаконичный, сдержанный и предельно выразительный, — все это производит ошеломляющее впечатление и долго и глубоко волнует.

О Вашей гениальной игре должны — и, конечно, будут — писать специальные исследования. Ваш Эдип поражает не только силой, благородством и строгостью исполнения, но и тем, что в Вашей игре воссоздан самый дух античной культуры, ее золотой канон — все те черты, которые придают ей вечное, немеркнувшее совершенство.

Об одном только жалеет наша семья — что мой отец¹ не смог увидеть этого замечательного спектакля и Вас — которого он так любил как художника и человека.

Ваша Н. Зубова.

27 сентября 1958 г.

Дорогой Акакий Алексеевич!

Обстоятельства сложились так, что я только сейчас получил Ваше милое письмо, написанное месяц тому назад. Этим и объясняется, что я раньше не мог ответить на него.

¹ Зубов К. А., народный артист СССР.

Мне очень радостно все, что Вы пишете обо мне как критике и театроведе. Мне еще более радостно, что моя скромная (хотя и довольно длинная — это не от скромности!) статья пришла к Вам и даже подбодрила Вас. Может ли быть что-либо более приятное критику, как вызвать желание творить у такого замечательного художника, гордости нашего советского театра, как Вы?! И если это произошло, значит моя цель достигнута. Я очень рад, что мне удалось сказать о Вас то, что я думаю и чувствую, на страницах Вашего грузинского журнала, который читает Ваш народ, Ваши люди искусства. И хотя сам я не могу прочесть свою статью вследствие незнания Вашего языка, но приятно уже и то, что мне удалось выступить перед Вашей читательской публикой.

Я очень люблю Вас как актера и очень верю в Ваши творческие силы. Я твердо уверен, что Вы еще порадуете нас новыми, значительными созданиями Вашего изумительного таланта. От всей души желаю Вам новых больших творческих успехов на радость нашему народу и всем почитателям Вашего дивного дарования, Вашей пламенной артистической души. Крепко жму Вашу руку.

Искренно Ваш С. Мокульский¹.

25 октября 1966 г.

Дорогой Акакий Алексеевич!

Задумал я большую книгу, в которой хочу рассказать всю историю западного театра на примерах лучших классических спектаклей. И вот Шиллер должен быть представлен Вашей постановкой «Разбойников» (т. е. постановкой Ахметели с Вами в роли Карла).

Спектакль этот я видел, но мальчиком, и помню его не так подробно, как мне это сейчас нужно.

Этери² мне уже передала, что Вы согласились написать мне письмо с описанием наиболее ярких мест спектакля и своего об-

¹ Мокульский Степан Степанович — русский советский литературовед, театровед. Доктор филологических наук. Автор множества научных трудов по театру и драматургии.

² Гугушвили Этери Николаевна — грузинский театровед, доктор искусствоведения, профессор, ректор Гос. театрального института им. Ш. Руставели.

раза. Очень буду благодарен, если Вы это сделаете. Возможно, что я в книгу помешу Ваше письмо, добавив кое-что от себя (и показав Вам мои добавления). Такая форма рассказа-воспоминания актера — может быть оригинальной.

Нужны мне и Ваши фотографии в роли и в общих сценах.

В разделе шекспировского театра будет фигурировать Ваш «Отелло» и рядом для сравнения «Отелло» Оливье.

Очень давно Вас не видел — с лондонских времен. За это время у меня были две интересные поездки в Италию и Испанию. Об Испании мы с Комиссаржевским сейчас пишем книгу.

Жду с нетерпением Вашего письма.

Обнимаю Вас, дорогой друг!

Гриша¹.

Дорогой Акакий Алексеевич!

На днях будет месяц, как я¹ уехал из Тбилиси, а воспоминание о днях, проведенных у вас, все еще свежо, радостно и волнительно...

Мне было очень, очень хорошо у вас!

Я очень рад, что познакомился ближе с тобой, и огорчен, что не видел тебя в «Отелло».

Как идет твоя работа? Что нового у вас в театре? Что собираешься играть? Да, имеет ли успех у публики «Стакан воды»?² Черкни на досуге пару строк — буду и рад и благодарен тебе.

Передай, пожалуйста, всем, кто меня помнит, мой товарищеский и самый искренний привет.

Прошу тебя передать мою благодарность студентам института. Никогда не забуду этот вечер!

Отличное впечатление на меня произвел показ работ твоих питомцев!

Особенно мне понравилось, что люди идут вглубь, а не вширь в своем искусстве, — это очень, по моему мнению, важно! Весь вечер был, я бы сказал, какой-то мхатовский, что ли... Веяло чем-то родным, близким... мне очень понравилось — спасибо тебе. Об

¹ Бояджиев Григорий Нерсесович — театровед, театральный критик, доктор искусствоведения, профессор. Автор книг по советскому и зарубежному театру и драматургии.

² Пьеса французского драматурга Огюстена-Эжена Скриба.

отдельных впечатлениях театральных я тебе уже рассказывал, не хочу повторяться.

А я заработался совсем! Ни днем, ни ночью, что называется, покоя нет... Ну, приедешь в Москву (кстати, когда думаешь быть в Москве?), обо всем потолкуем. Извини, дорогой друг, что долго не писал тебе, но меня так загрузили работой, что нет минутки свободной!

Привет тебе и твоей жене самый, самый хороший!

Будь здоров, дорогой! Спасибо еще раз! Крепко жму твою руку.

С любовью и уважением твой Н. Хмелев.

(Письмо без даты).

18 июля 1971 г.

Глубокоуважаемый Акакий Алексеевич!

С чувством огромного удовольствия, сравнимого разве что с радостным праздником, вспоминаю о времени, проведенном с Вами в Тбилиси, о встречах с Вами, о счастье видеть и слышать Вас, говорить с Вами.

Эти встречи и беседы — незабываемы, и я навсегда сохраню их в своем сердце, как храним мы все самое светлое и дорогое нам.

Как и обещал Вам, статью Вашу успел закончить в недельный срок, выдержав ту композицию, о которой мы с Вами условились, а еще через неделю Вы, видимо, уже получите ее и внесете всю ту необходимую правку, какую сочтете необходимой, все дополнения и изменения.

Я рассказал Всеволоду Анисимовичу¹ о Вас, передал Ваш привет, и Всеволод Анисимович сам с большим удовольствием вспоминал о встречах и беседах с Вами, о вашей совместной поездке по Франции.

Всеволод Анисимович, исходя из важности Вашей статьи, распорядился напечатать ее в ближайшем — десятом номере нашего журнала. Вот почему, глубокоуважаемый Акакий Алексеевич, я хочу попросить Вас помочь нам в деле ускорения сдачи статьи в набор и, если Вам удастся, уже числа 1—2 августа (а если раньше — то лучше) возвратить нам Вашу статью по адресу:

¹ Всеволод Анисимович Кочетов — писатель, редактор журнала «Октябрь».

гор. Москва, А-47, ул. «Правды», дом. 11, редакция журнала «Октябрь», отдел критики, Меженкову В. П.

В дальнейшем мы поступим так, как и договорились: мы вышлем Вам два экземпляра верстки, а как только выйдет из печати журнал (это случится в первых числах октября), пришлем Вам десять экземпляров с Вашей статьей.

Всеволод Анисимович передает Вам глубочайший привет и пожелание скорейшего выздоровления, а я, в свою очередь, присоединяясь к пожеланиям Всеволода Анисимовича, передаю глубочайший привет обаятельной и гостеприимной Нине Сардионовне и заверяю Вас в своем самом беспредельном уважении и искренности к Вам.

Всегда Ваш Володя Меженков¹.

Публикация Тенгиза ДЖАНЕЛИДЗЕ

¹ Меженков Владимир, журналист, сотрудник журнала «Октябрь».

ХРОНИКА

НАУЧНАЯ СЕССИЯ

В СВЯЗИ с юбилеем нашей страны — 60-летием образования СССР Комиссия по источникам истории Грузии при Президиуме Академии наук республики провела в Сухуми всесоюзную научную сессию по актуальным проблемам изучения и издания письменных исторических источников.

На пленарных заседаниях был заслушан ряд докладов, посвященных теоретическим вопросам источниковедения, которые сделали члены-корреспонденты АН Грузинской

ССР Т. Каухчишвили и З. Анчабадзе, академик АН Азербайджана З. Бунятов, тбилисские ученые Р. Кикнадзе, М. Шанидзе, З. Алексидзе, Н. Шенгелия, Т. Амичба (Сухуми), Л. Пушкарев (Москва), З. Тандилава (Батуми).

На сессии плодотворно работали секции повествовательных источников, вспомогательных исторических дисциплин, общего и теоретического источниковедения.

Сессия еще раз продемонстрировала высокий уровень развития источниковедения в Грузии.

«ТИХОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

В САМЫЙ канун большого праздника — 60-летия образования СССР — в Литературном институте имени А. М. Горького состоялась теоретическая конференция, посвященная деятельности Николая Семеновича Тихонова как переводчика многих литератур народов Советского Союза.

Вступительное слово произнес ректор института, профессор В. Ф. Пименов. Он нарисовал привлекательный образ деятельного, доброжелательного, просвещенного поэта, рассказал о своих встречах с ним, показал важную роль Н. С. Тихонова в организации общесоюзного литературного процесса.

Более других переводил Тихонов грузинских поэтов. Он любил Грузию какой-то удивительной любовью, так любят место, где родился, где вырос... Всего привычней встретить имя Тихонова под переводами Сандро Шаншиашвили, Мариджан, Симона Чиковани, Тициана Табидзе, Ираклия Абашидзе, Георгия Леонидзе... И переводы эти отмечены глубоким проникновением в материю оригинала.

С большим сообщением о связях Тихонова с грузинской поэзией выступила аспирантка института Динара Кондахсазова.

На многочисленных примерах она показала методы работы Тихонова — переводчика, воспроизведение им движения стиха, его синтаксическую композицию, структуру образности. И, что особенно характерно для переводческой манеры Н. Тихонова, — точное воспроизведение музыкальной интонации подлинника.

«Тихонов и Айбек» — так называлось сообщение аспирантки Н. Нарзуллаевой. Это интересная и важная страница в истории русско-узбекских литературных связей.

Студентка М. Хемлин говорила о связях Тихонова с Украиной.

Крепки и серьезны были нити, связывающие Тихонова и с Литвой. Студентка О. Мицкявичюте уделила внимание главной работе Тихонова, его переводу классической поэмы Антанаса Баранускаса «Аникщайский бор».

Студент Б. Ламбовски посвятил свое выступление связям Тихонова с болгарской поэзией.

Тихонов и Туркмения. Поездки в страну. Изучение литературы республики — все это стало темой выступления аспиранта К. Курбанмурадова.

Многообразны творческие связи Тихонова с Азербайджаном. На эту тему сделали сообщения студентки В. Караджамири и Е. Журавлев.

В заключительном слове про-
ректор института Е. Ю. Сидоров
признал весьма удачными такого
рода теоретические конферен-
ции.

«Тихоновские чтения» подгото-
вил и вел руководитель семина-
ра переводчиков профессор Л. А.
Озеров. Присутствовавшие на кон-
ференции члены семьи Н. С.
Тихонова, поэты и переводчики
отметили весьма высокий уро-
вень сообщений и высказали

пожелание, чтобы такого рода
конференции устраивались для
большого круга слушателей, что-
бы в них принимали участие
члены Бюро творческого объе-
динения переводчиков и члены
Совета по художественному пе-
реводу Союза писателей СССР.

Литературный институт им.
А. М. Горького, проведя «Ти-
хоновские чтения», сделал пре-
красный подарок к празднику
60-летия образования СССР.



На 1-й обложке фото Сандро Мамасалхиси.

Сдано в набор 17.XI.82 г. Подписано к печати 12.I.-83 г. - Формат
84×108¹/₃₂. УЭ 01201. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л.
11,97. Уч.-изд. л. 9,4. Тираж 8600 экз. Заказ № 2710. Адрес ре-
дакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

Главный редактор Т. П. БУАЧИДЗЕ.

Редакционная коллегия:

З. Г. АБЗИАНИДЗЕ, Р. Н. АСАЕВ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ТОГУА, Г. П. ДОЧАНАШВИЛИ, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ [ответственный секретарь], Э. Д. КВИТАИШВИЛИ, Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, О. Ф. НОДИЯ, Л. Ш. СТУРУА, Э. А. ФЕЙГИН, Г. Р. ХАРАИДЗЕ [заместитель главного редактора], Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

Тбилиси, ул. Ленина, 14

26-83

83-27

19490520
8030010330

СЛУЖБА ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ

ОПШТИНА БЕЛОВАРА

У ПИСМОЈ ОД ДИРЕКТОРА БЕЛОВАРСКОГ
ОПШТИНСКОГ СУДА БЕЛОВАРА ДАТУМА
19. 11. 1949. ГОДИНЕ, ПОСЛАНОЈ ОД
ДИРЕКТОРА БЕЛОВАРСКОГ ОПШТИНСКОГ
СУДА БЕЛОВАРА ДАТУМА 19. 11. 1949.
ГОДИНЕ, ПОСЛАНОЈ ОД ДИРЕКТОРА
БЕЛОВАРСКОГ ОПШТИНСКОГ СУДА
БЕЛОВАРА ДАТУМА 19. 11. 1949. ГОДИНЕ

УВЕЖИМАНО

ОПШТИНСКИ СУД БЕЛОВАРА
У БЕЛОВАРИ

ПОСЛАНО ОД ДИРЕКТОРА БЕЛОВАРСКОГ

ОПШТИНСКОГ СУДА БЕЛОВАРА

